

P a u l H e y s e

A M T I B E R U F E R

N o v e l l e n a u s w a h l

Moskau – 1999

Пауль Гейзе. На берегу Тибра. Сборник рассказов. На нем. яз. Составление и комментарии П.А.Гелева. – М.: Издательство «Менеджер», 1999

Пауль Гейзе (1830 – 1914 гг.) – один из самых плодовитых новеллистов XIX века и крупнейший знаток и теоретик того жанра в Германии. Его литературное наследие чрезвычайно велико. Он известен не только как прекрасный прозаик, автор психологических новелл, читаемых во всём мире, но и как поэт, как драматург. В 1910 году писателю была присуждена Нобелевская премия.

Рассказы, входящие в настоящую книгу, дают известное представление о его новеллах «итальянского цикла».

All rights reserved. This publication may not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

© Составление, подготовка текста, комментарии: П.А. Гелева, 1999 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Пауля Гейзе, скорее всего, ни о чём не говорит современному российскому читателю.*

А ведь речь идёт об одном из самых плодовитых новеллистов XIX века и крупнейшем знатоке и теоретике этого жанра в Германии. Его литературное наследие чрезвычайно велико. Он был известен не только как прекрасный прозаик, автор психологических новелл, читаемых во всём мире, но и как поэт, как драматург.

О нём с большим уважением отзывались современники, его друзья и соратники по перу, Теодор Шторм, Готфрид Келлер, Теодор Фонтане и другие. Георг Брандес, известный датский литературовед и критик, подчёркивал гуманистическое содержание и тонкую, ювелирную обработку формы у рассказов Гейзе, сравнивая его с такими признанными мастерами, как Проспер Мериме и Э.Т.А.Гофман. В 1910 году писателю была присуждена Нобелевская премия.

Жизненный путь Пауля Гейзе (1830-1914) и его путь в литературе сложился вполне благополучно и даже как-то слишком гладко. Он родился в обеспеченной семье берлинской интеллигенции. Отец, известный филолог, профессор Берлинского университета, поддерживал обширные знакомства с людьми искусства и науки. Будущий писатель, посещая кружок великого композитора Феликса Мендельсона, куда он вошёл благодаря родственным связям матери, а впоследствии и кружок известного искусствоведа Франца Куглера, уже в ранней юности познакомился со знаменитым Ференцем Листом, с прославленным датским скульптором Торвальдсеном, с одним из последних немецких романтиков – Эйхендорфом и многими другими выдающимися

* Дело усугубляется ещё тем, что в недавно выпущенном одномомнике серии «Лауреаты Нобелевской премии», куда вошли отдельные произведения писателя, о нём говорится как о Пауле Хейзе. (И почему, собственно, Хейзе, а не Хайзе, чтоб было уж совсем правильно?) Такое пренебрежение, полнейшее пренебрежение, к русской культуре и её традициям чести нынешним культуртрегерам, разумеется, не делает. Из-за того, что эти господа хотят показать нам, что они знают по-иностранному, теперь приходится ожидать появления сказок Хоффмана и Хауффа, стихотворений Хайнриха Хайне или Хейнриха Хейне, произведений Виктора Юго и Бернарда Шо, благо, что книги Уильяма Шейкспира уже имеются и Конаном Дойлом нас тоже не удивишь. (П.Г.)

людьми, имена которых имеют непосредственное отношение к немецкой культуре XIX века.

Писать Гейзе начал ещё гимназистом. Первые стихи, выдержанные в духе либеральной поэзии, вышли в пору революции 1848 года. Но известность пришла к Гейзе после опубликования рассказа «L'Arrabbiata» («Строптивая»), написанного им во время путешествия по Италии в 1853г. После чего, не давая себе до конца жизни ни малейшей передышки, Гейзе создал больше сотни новелл, девять романов, порядка пятидесяти драм, несколько сборников стихов. Большую известность получил он и как прекрасный переводчик итальянских поэтов XVIII-XIX веков, итальянских народных песен и нескольких драм Шекспира. Совместно с писателем Германом Курцем он перевёл и издал многотомное собрание «Сокровища зарубежной новеллы», а также дважды издал «Сокровищницу немецких новелл» в 24-х томах, сопроводив свои издания собственными теоретическими рассуждениями о жанре новеллы.

Здесь не место устраивать сколько-нибудь подробный анализ творчества писателя. Скажем лишь, что Гейзе старался разрабатывать самые разные жанровые типы рассказа. Рассказы, входящие в настоящую книгу, дают известное представление о его новеллах «итальянского цикла».

В центре внимания Гейзе всегда стоит человек, в основе своей – или, как говорит автор, «по своей природе» – добрый и полный душевного благородства. Именно эти качества он всегда подчёркивает в своих героях, особенно в людях из народа.

Разумеется, это не означает, что его герои даны как односторонние образцы добродетели для подражания. Герои Гейзе наравне с положительными чертами характера имеют также отрицательные, но в общей сумме образ человека у Гейзе в большинстве случаев выходит положительный.

В борьбе со всевозможными общественными пороками и душевными извращениями, с эгоизмом, жадностью, честолюбием, в душе героев Гейзе всегда побеждает, говоря словами писателя, «самобытность», «неподдельная сила природы», «не парализованная оранжерейным институтским воспитанием». В подчёркивании природных качеств героев чувствуется постоянная полемика с основными устоями общества чистогана. Эта скрытая полемика составляет подтекст лучших произведений Гейзе.

И в самом деле, герои итальянских новелл Гейзе исключительно цельные натуры. Стоит отметить, что внутренняя цельность образов складывается из самых противоречивых качеств:

из моральной чистоты, неспорченности, разумности, с одной стороны, и самых нелепых суеверий, с другой, как, например, у Фениче и Аннины. Но цельности характеров это нисколько не нарушает.

Происходит же это потому, что основа, на которой они возникли, едина в своих противоречиях. Условиям жизни, которыми особенно интересуется Гейзе, присуща патриархальность, капиталистические отношения в них едва только начинают проникать. На подобной «девственной» почве лишь и возможна та поэтическая цельность натуры, какую показал нам в своих итальянских новеллах Гейзе.

Среди положительных образов новелл немецкого писателя особенно большое место занимают женские образы. Почти во всех произведениях они стоят на переднем плане, а образы мужчин служат для них как бы фоном.

По словам К.Мартенса, «женщина в произведениях Гейзе не просто прекрасная душа, пассивно созерцающая собственное совершенство. Опираясь на сознание своей правоты и собственного достоинства, она не только стоит рядом с мужчиной в жизненной борьбе, но и воздействует на него решающим образом в известные моменты жизни, выступая по отношению к нему ведущей моральной силой. Никогда у Гейзе женщина, даже при наличии многих слабостей, не толкает мужчину на дурные поступки, а напротив, своим поведением, которое само по себе может быть и не образцовым, заставляет его действовать разумно и человечно».

И в 80-е годы XIX века, когда появились первые представители немецкого натурализма и зародилась декадентская литература, а всё, связанное с классическими традициями Гёте, Грильпарцера, Эйхендорфа, объявлялось как потерявшее всякую актуальность, Пауль Гейзе имел мужество открыто объявить себя приверженцем классических идеалов и классических принципов. Разумеется, его творчество подверглось ожесточённым нападкам как «эпигонское», «устаревшее» и прочая, но у писателя, невзирая на это, достало таланта и умения, чтобы на многие годы сохранить симпатии читающей публики.

Павел Гелева

AM TIBERUFER

Es war tief im Januar. Der erste Schnee hing am Gebirge, und die Sonne, die hinter dem Nebel stand, hatte nur einen geringen Streif am Fuß der Höhen weggeschmolzen. Aber die Öde der Campagne¹ grünte wie Frühling. Nur die gelichteten Zweige der Ölbäume, die hie und da in Reihen die gelinden Senkungen der Ebene hinabstehen oder eine einsame Capanne umgeben, und das niedere Gestrüpp, das bereift an den Straßen wuchert, empfanden den Winter. Um diese Zeit sind die zerstreuten Herden in die Hürden nahe bei der Hütte des Campagnuolo² gesammelt, die gewöhnlich, im Schutz eines Hügels errichtet, mit Stroh bis auf den Boden dürrig genug vor dem Wetter verwahrt ist, und wer von den Hirten zu singen oder Flöte und Sackpfeife zu spielen versteht, hat sich aufgemacht, in Rom nachzügeln³ als Pifferaro³ den Malern zum Modell zu dienen oder mit andern Erwerb das arme, frierende Leben zu fristen. Herren der Campagne sind nun die Hunde, die in großen Rudeln die verlassene Weite durchstreifen, vom Hunger verwildert, von den Hirten nicht mehr streng bewacht, deren Armut sie nur zur Last fallen.

Gegen den Abend, als der Wind stärker wurde, schritt ein Mann durch die Porta Pia⁴ und wanderte den Fahrweg zwischen den Landhäusern hin. Der Mantel hing ihm nachlässig um die starken Schultern, und der breite graue Hut saß tief im Nacken. Er sah nach den Bergen hinüber, bis der Weg tiefer ward und nur ein geringes Stück der Ferne zwischen den Gartenmauern durchblickte. Die Enge schien ihn zu beklemmen. Er verlor sich wieder unmutig in seine Gedanken, denen zu entrinnen er das Freie gesucht hatte. Eine stattliche Eminenz⁵ trippelte mit ihrem Gefolge an ihm vorbei, ohne daß er sie wahrte und grüßte. Erst der nachfolgende Kardinalswagen erinnerte ihn an seinen Verstoß. Von Tivoli⁶ her rollten Karossen und leichtere Fuhrwerke voll Fremder, die es gelüstet hatte, die Berge und Kaskaden im Schnee zu sehen. Er warf keinen Blick auf die zierlichen Gesichter der jungen Engländerinnen, mit deren blauen Schleiern die Tramontane⁷ spielte. Hastig bog er von der Straße ab, links in einen Feldweg hinein, der erst Mühlen und Schenken vorüberlief und dann mitten in die Wildnis der Campagne hinausführte.

Nun stand er einen Augenblick tief atmend und genoß die Freiheit des weiten winterlichen Himmels. Die gedämpfte Sonne schien rötlich herüber, hauchte die Trümmer der Wasserleitung an und färbte den Schnee am Sabiner Gebirge.⁸ Hinter ihm lag die Stadt. Aber nicht fern von ihm begann eine Glocke zu läuten, nur leise durch den widrigen Wind. Das machte ihn unruhig. Als wolle er dem letzten Laut des Lebens verwehren, zu ihm zu dringen, ging er vorwärts. Er verließ bald den schmalen Pfad,

die Wellen der Ebene auf- und abkreuzend, schwang sich über die Stangen, die im Sommer die weidenden Rinder eingehegt hatten, und vertiefte sich mehr und mehr in die einsame Dunkelheit.

Es war eine tiefe Stille dort wie mitten auf dem ruhigen Meer. Fast hörte man den Flügelschlag der Krähen, die über den Boden hinhüpften. Keine Grille sang, kein Ritornell eines heimwandernden Weibes drang von der fernen Straße bis zu ihm. Da ward ihm wohl. Er stieß den Stock mehrere Male hart gegen den Boden und freute sich an dem Ton, der ihm antwortete. – „Sie spricht nicht viel“, sagte er vor sich hin im Dialekt des gemeinen römischen Volks, „aber sie meint es ehrlich und sorgt im stillen für ihre plappernden Kinder, die sie mit Füßen treten. Daß ich sie nie wieder zu hören brauchte, diese windigen Schufte! Meine Ohren sind wund von ihren glatten Phrasen. Als wär’ ich nichts, als wüßt’ ich es nicht besser, woran diese Dinge hängen, von denen sie zu schwatzen wissen, während ich nichts verstehe, als sie zu schaffen. Und doch leb’ ich von ihnen und muß eine gute Miene machen, wenn die Fratzen mein Werk beschnüffeln! Accidenti!“ fluchte er in den Bart. – Ein Echo kam zurück. Er sah betroffen umher. Keine Hütte, kein Hügel war auf eine halbe Stunde im Umkreis zu sehn, noch konnte er einen Menschen nahe glauben. Er ging endlich weiter und dachte, ein Windstoß äffe ihn. Da klang es plötzlich wieder, näher und lauter. Er stand und horchte scharf. „Bin ich einer Capanne nah oder einem Schuppen, aus dem die Rinder brüllen? Es kann nicht sein – es klang anders – es *klingt* anders – und jetzt, jetzt“ – und ein Schauer schüttelte ihn – „es sind die Hunde!“ sagte er dumpf.

Das Geheul kam näher, heiser wie von Wölfen, kein Bellen und Kläffen, sondern ein Gestöhn, rauh vorgestoßen, das die Stimme des Windes in eine ununterbrochene furchtbare Melodie zusammenwehte. Eine lähmende Kraft schien in ihr zu liegen. Denn der Wanderer stand regungslos, den Mund und die Augen starr geöffnet, das Gesicht der Seite zugewendet, von der der Schlachtruf der wütenden Tiere heranschwoll. Endlich richtete er sich gewaltsam in seinen Gliedern auf und sagte: „Es ist zu spät, sie haben längst die Witterung, und bei dem falschen Zwielficht stürzt’ ich nach dem zehnten Schritt, wenn ich laufen wollte. Nun denn, wie ein Hund gelebt und von meinesgleichen umgebracht – es ist doch Sinn darin. Hätt’ ich ein Messer, macht ich’s meinen Gästen leichter. So aber“ – und er prüfte die starke Eisenspitze seines Stockes – „wenn es ihrer wenige sind – wer weiß, ob mein Hunger nicht den ihren überlebt?“

Er schlug sich den Mantel um, daß der rechte Arm frei wurde und der linke, vielfach umwunden, zur Abwehr gerüstet war, und faßte den Stock. Mit kaltblütiger Entschlossenheit untersuchte er den Boden, wo er stand. Er fand ihn von Gras entblößt, steinig und hart. „Sie mögen

kommen", sagte er und stellte sich fest gegen die Erde. Er sah sie jetzt und zählte in der Dämmerung. „Fünf!“ zählte er, „und da ein sechster! Sie rasen heran wie der höllische Feind, dürre, hochbeinige Bestien. Wart!“ – und er hob einen starken Stein – „man muß doch den Krieg ankündigen, wie es Brauch ist.“

Damit schleuderte er den Stein gegen den vordersten auf fünfzig Schritt hinaus. Ein verdoppeltes Geheul antwortete. Das Rudel hielt einen Augenblick im Jagen inne. Einer von ihnen lag zuckend am Boden.

„Waffenstillstand!“ sagte der Mann. Seine Lippe zitterte, das Herz schlug tobend gegen den linken Arm, der den Mantel krampfhaft festhielt. Aber die Wimper über dem scharfen Auge zuckte nicht. Er sah seine Feinde wieder losbrechen und ihre Augen glänzen durch die Schatten. Zu Paaren kamen sie, der größte voran. Ein zweiter Stein, der diesen anflieg, sprang von der knöchigen Brust ab, und das gereizte Tier stürzte heiser aufmurrend gegen die dunkle Gestalt. Ein Ruck, und er lag rücklings auf dem Gestein, und der im Wirbel geschwungene Stock fuhr ihm gewaltsam gegen den offenen Rachen.

Ein Reiter sprengte durch das Grau der Winternacht, einige hundert Schritt dem Kampfe fern, über die pfadlose Campagne. Er spähte nach der Stelle, von der das Geheul in kurzen Pausen zu ihm kam, und sah einen Mann stehen, wanken, zurückweichen, wieder festen Fuß fassen, während die Feinde sich ablösten im Angriff und von allen Seiten auf ihn einstürmten. Dem zu Pferde grauste. Er stieß seinem Tiere die Sporen in die Seite und flog heran. Der Hufschlag drang dem Kämpfenden zu Ohren; aber es war, als ob der jähe Schreck der Hoffnung ihm plötzlich die Kraft bräche. Sein Arm sank nieder, seine Sinne verwirrten sich, er fühlte sich von hinten niedergerissen und taumelte zu Boden. Noch hörte er durch den Nebel des Bewußtseins einige Schüsse fallen; dann verfiel er in Ohnmacht.

Als er sich wieder ermannte und die Augen zuerst aufschlug, sah er das Gesicht eines jungen Mannes über sich, an dessen Knie sein Haupt lehnte und dessen Hand ihm mit ausgerauftem nassem Gras die Schläfe rieb. Das Pferd stand dampfend neben ihnen; ihm zu Füßen wanden sich zwei Hunde, blutig, im letzten Todeszucken.

„Seid Ihr verwundet?“ hörte er fragen.

„Ich weiß nicht.“

„Ihr wohnt in Rom?“

„Beim Tritone.“⁹

Der andere half ihm sich aufrichten. Er vermochte nicht zu stehen, der linke Fuß schmerzte ihn heftig. Er war barhaupt, der Mantel in Fetzen, der Rock am Arm aufgerissen und blutig, das Gesicht blaß und starr. Ohne zu sprechen, ließ er sich von seinem Retter stützen, der ihn die kurzen

Schritte zu dem Pferde mehr trug als führte. Er saß endlich im Sattel, und der andere faßte den Zügel des Pferdes und leitete es langsam nach der Stadt zu.

Bei der ersten Osterie¹⁰ außerhalb der Mauern hielten sie. Der junge Mann rief der Wirtin, daß sie Wein bringe. Als der Verwundete ein Glas geleert, belebten sich seine Züge, und er sprach: „Ihr habt mir einen Dienst geleistet, Herr. Vielleicht verwünsch’ ich ihn noch einmal, statt ihn Euch zu danken. Fürs erste dank’ ich aber. Man hängt nun einmal am Leben wie an anderen schlechten Gewohnheiten. Man weiß, die Luft ist voll von Fieber und Fäulnis und nichtswürdigem Dunst der Menschen, und doch dünkt jeden Atemholen eine gute Sache.“

„Ihr seid schlecht auf die Menschen zu sprechen.“

„Ich habe keinen gefunden, der mich nicht für einen Dummkopf hielt, wenn ich gut von ihm sprach. Verzeiht, Ihr seid nicht aus Rom?“

„Ich bin ein Deutscher.“

„Gott segn’ es Euch!“

Sie erreichten schweigend das Tor und lenkten ein nach Piazza Barberini.¹¹ Der Verwundete wies auf ein kleines Haus im Winkel des Platzes, baufällig und dunkel. Als das Pferd vor der niedrigen Tür hielt, ließ sein Reiter sich niedergleiten, ehe der andere ihn stützen konnte, brach aber hilflos zusammen. „Es ist ärger, als ich dachte“, sagte er. „Tut noch das und helft mir hinein, und da ist der Schlüssel.“ – Der junge Mann unterstützte ihn schweigend, rief einem Knaben, das Pferd zu halten, und einem müßigen Burschen, das Haus zu öffnen. Drinnen war es dunkel, die feuchte Kälte schlug ihnen unheimlich entgegen. Sie trugen ihn durch den Flur, wie er’s ihnen sagte, links in ein wüstes großes Gemach. „Wo ist Euer Bett?“ fragte der Deutsche. – „Wo Ihr wollt; aber legt mich lieber drüben an die Wand. Dort hinten ist die Mauer nicht zuverlässig. Dieser brave alte Palazzo,¹² im Frühjahr wollen sie ihn niederreißen; ich glaube, er hat nicht die Geduld, es abzuwarten.“

„Und Ihr haltet es hier aus?“

„Es ist die billigste Art, sich begraben zu lassen“, sagte der andere trocken. „Ich spiele hier den Wirt für freies Quartier.“

Indessen hatte der Bursch Feuer angeschlagen und die kleine Messinglampe angezündet, die am Fenster stand. Der junge Mann half dem Verwundeten auf eine Decke, über Stroh ausgebreitet, und deckte ihn mit dem zerrissenen Mantel notdürftig zu. Mit einem tiefen Atemzuge streckte sich die kräftige Gestalt aus und schloß die Augen. Der Deutsche gab dem Burschen Geld und trug ihm verschiedenes auf; dann ging er ohne Abschied hinaus, warf sich aufs Pferd und ritt eilig davon.

Nach einer Viertelstunde betrat er wieder das Gemach und brachte den Arzt. Während dieser die Wunden an Bein und Arm untersuchte und

verband, was der Kranke geschehen ließ, ohne einen Laut von sich zu geben, sah sich der junge Deutsche an den Wänden um. Sie waren kahl und der Bewurf in großen Stücken abgefallen. Die Balken am Dach standen nackt und geschwärzt heraus, das schlechte Fenster ließ die schneidende Luft ein, wenigtes Gerät stand herum. Indes brachte der Bursch einen Arm voll Holz und machte ein Feuer im Kamin. Wie es nun rot aufprasselte, wurden im Winkel einige verstaubte Tonfiguren und Gipsabgüsse sichtbar, ein großer Delphin, der einen toten Knaben auf dem Rücken trug, eine Meduse in Relief, kolossal, die Haare noch nicht zu Schlangen belebt, wirr um die schmerzlichen Schläfen herabgeringelt – er entsann sich nicht, diese Züge an einer Antike gesehen zu haben. Abgüsse über dem Leben, Arme, Füße, die Brust eines jungen Mädchens, dazwischen flüchtige Skizzen in Ton standen und lagen wüst durcheinander. Auf dem Tisch aber sah er mannigfaches Gerät, wie es ein Kameenschneider braucht, und einige Stöcke mit halbvollendeten Arbeiten, zum größten Teil Medusenköpfe, die jenem großen Relief glichen, aber von verschiedenem Grad und Charakter der Leidenschaft und Hoheit. Unbearbeitete Muschelstücke, Abdrücke geschnittener Steine und Pasten in Glas und Gips lagen in einem Kästchen daneben.

“Ich denke, es hat keine Gefahr”, sagte nun der Arzt. “Laßt Eis holen und den Burschen die Nacht aufsitzen, den Verband unablässig zu kühlen. Sie haben Euch arg mitgespielt, Sor Carlo. Aber wer Teufel heißt Euch um diese Jahres- und Tageszeit in die Campagne rennen?”

“Diese eigensinnigen Schufte, die Kamine”, sagte der Künstler; “sie wollen ihre Schuldigkeit nicht tun, ohne daß man ihnen Scheiter in den Hals stopft. Ich hatte was gegen meinen guten alten Palazzo, Sor Dottore¹³; ich hätt’ ihm am liebsten einen Tritt gegeben, uns beide zu erwärmen. Nun, da lief ich ihm davon, damit es nicht zu Tötlichkeiten zwischen uns komme.”

“Ihr seid hier übel verwahrt”, erwiderte der gutmütige kleine Herr und wischte sich die Brillengläser, die beschlagen waren. “Meine Frau soll Euch noch eine Decke schicken; und morgen seh’ ich wieder nach. Der Schlaf wird kommen, und dieser Arzt steckt uns alle in die Tasche. Gute Nacht!”

Der junge Mann begleitete ihn hinaus, und sie sprachen im Flur eine Weile. “Ich kenne ihn dem Namen nach”, sagte der Arzt. “Er geht so seine seltsamen, menschenscheuen Wege, verkehrt in den Kneipen mit dem letzten Facchin’ am liebsten, und was er hat, vertut er. Es ist aber keiner in Rom, der’s ihm gleichtäte in Kameen. Er hat’s von seinem Vater, Giovanni Bianchi,¹⁴ der lange tot ist.”

“Sind die Wunden im Ernst ungefährlich?”

“Wenn er sie schont und mit dem Eis nichts versäumt wird. Er hat

Glieder wie von Eisen, sonst hätt' er auch den Bestien nicht so lange standgehalten. Fünf, sagt Ihr! der tollkühne Mann! Aber das ist so einer von seinen Streichen. Nun, nun, er wird schlafen; seid unbesorgt, Sor Teodoro!"

Er schlief schon, als Theodor wieder zu ihm eintrat, obwohl er das Gesicht nach dem hellen Feuer gewendet hatte. Theodor betrachtete ihn lange. Er war völlig schön, nur die Nase ein wenig hager, das Haar war hie und da verblichen, der Bart ungepflegt; aus dem atmend halbgeöffneten Munde glänzten die weißen Zähne vor. Als Theodor den Mantel lüftete, um das Eis aufzulegen, sah er die ganze Kraft der Glieder.

Er schickte den Burschen fort, nachdem er ihn Vorrat von Holz und Eis hatte zutragen lassen, und befahl ihm, in der Frühe wiederzukommen. Er selbst schob einen Rohrstuhl an den Kamin und ließ sich nieder, den Mantel umgeschlagen, und bereitete sich zu wachen. Es war nun um die zehnte Stunde; draußen über dem öden Platz stand die klare Nacht, und der Strahl des Springbrunnens plätscherte leise in die Muschel des Tritonen. Aus einem nahen Hause hörte er eine Mädchenstimme singen:

Chi sa, se mai ti soverrai di me!¹⁵

den Refrain eines alten schmerzlichen Liedes. Bald schwieg auch das und summte wortlos in ihm nach.

Er sah sich wieder am Rande der Schlucht von Tivoli, auf dem Fußweg den Wassern gegenüber, die in winterlicher Dürftigkeit aus ihren vielen Mündungen niederstürzten. Sie gingen, ohne sich zu führen, nebeneinander, er, das schöne Mädchen und ihre bewegliche kleine Begleiterin, die unablässig über den mühevollen abschüssigen Weg eiferte. "Wir hätten mit Euren Eltern zurückgehen sollen, Mary", sagte sie mehr als einmal auf englisch; "ja, wir sollten es noch. Da sind sie noch, Kind, droben über der Kaskade, seht nur, Mary, und werden bald ganz komfortabel am Kamin sitzen, in der Sibylle,¹⁶ und wir erfrieren uns die Nasen. Die Eure ist schon ganz rot, Mary, dear me,¹⁷ wie seht ihr aus, Kind! Der Wind ist auch so scharf von dem Wasser herüber; Ihr sagtet es gleich, Sir, und warntet; aber unser Kind hat ihre Einfälle. Guter Gott! wir haben die Landschaft ja im Herbst gesehen und gar im Sommer und ritten damals sanft und bequem den Abhang nieder, den wir jetzt hinabstolpern und gleiten müssen."

"Es ist nicht mehr weit, liebe Miß Betsy", sagte das Mädchen lächelnd, "dann wird die Straße gelinder. Unser Freund bot Euch ja seinen Arm; warum schlugt Ihr ihn aus?"

Die kleine Person näherte sich ihr und sagte leise: "Mary! daß Ihr mich das fragt! Ihr kennt meine Grundsätze, daß es unschicklich ist,

bergunter sich von einem unverheirateten Manne führen zu lassen. Wenn wir gleiten und uns an ihm halten, nimmt er jeden Druck für eine Zärtlichkeit. Ihr setzt mich in Verlegenheit, Kind.”

Marie lächelte fast unmerklich. Sie ging dann ernsthaft ihres Weges; der Hut von schwarzem Samt verbarg ihr Gesicht dem jungen Manne bis auf die vornickende braune Locke. – “Es war kein bloßes Kompliment, Sir”, sagte sie dann und blickte ihn unbefangen an, “als mein Vater Euch gestand, daß Ihr durch Eure Zurückhaltung ihm wehgetan. Wenn ich mich recht besinne, waret Ihr seit meines armen Bruders Tode nur viermal in unserem Hause.”

“Viermal!” sagte er. “Und Ihr habt gezählt?”

“Wir mußten die Zahl oft vom Vater hören. Seit ich Edward verloren habe, sagt er, mag ich mit niemand sprechen, der ihn nicht gekannt hat. Wie soll er mich noch kennenlernen? Dann kommt er immer auf Euch und lobt Euch und vermißt Euch.”

“Ich gestehe”, sagte Theodor, “die Liebe und Herzlichkeit, mit der mich Eure Eltern begrüßten, als wir uns hier begegneten, überraschte und rührte mich heftig. Auch ich bin in diesem Winter menschenbedürftiger als sonst. Im vorigen, der der erste war, durfte ich mich von nichts zurückziehen, was sich aufdrängte und Gewinn versprach. Ich sehe nun, daß ich nur verloren habe. Die Gesellschaft widerspricht dem Ort. Sie fühlt das, und weil sie doch gelten will, muß sie sich überheben. Das ist widerwärtig und verbittert andächtigen Menschen, wie ich einer bin, die fruchtbare Stimmung. Darum leb’ ich nun für mich oder mit einzelnen, denen es nicht besser gegangen als mir. Und doch bin ich von meiner Heimat her verwöhnt, auf die Länge nur in der Familie meines Lebens froh zu werden.”

“Ihr seid nun schon so lange von Euren Eltern getrennt.”

“Ich habe sie verloren”, sagte er still. “Sie starben beide in derselben Woche. Da ging ich über die Alpen, und Gott weiß, ob ich je zurückkehre.”

Sie betraten die leichten Schatten der Olivenpflanzung. Der Weg war durchaus trocken; über ihnen in den Zweigen glänzte es von Sonne, die den flüchtigen Schnee auf den Blättern aufgetaut hatte, daß sie schimmerten wie nach feinem Frühlingsregen. Die kleine Ehrendame wurde der besten Laune und erzählte von ihren einsamen Wanderungen durch Rom. Man wollte wissen, daß sie an einem Buche über Rom arbeite. Wie es auch immer damit sein mochte, es stand fest, daß sie sogar ihren Grundsätzen Gewalt antat und es sich nachsagen ließ, daß sie mit einem wildfremden jungen Italiener eine Stunde lang die Thermen des Caracalla¹⁸ nach allen Seiten durchforscht und seine Begleitung nach ihrer Wohnung nicht abgelehnt habe.

“Glaubt Ihr wohl, Mary”, rief sie jetzt, “daß ich mich leicht entschließen könnte, mein altes England mit keinem Auge wiederzusehn? Ihr wißt, wie ich es anfangs keinen Monat hier auszuhalten meinte. Denn ich bin von alter Familie, Sir, und mein erster Ahn fiel bei Hastings,¹⁹ nachdem er für sein Teil und für seine Kinder das Land miterobert hatte. Darum gehört mir mein Stück England so gut wie dem größten Grundbesitzer, und wer läßt gern das Seine im Stich! Und dennoch, wer weiß, ob ich hier nicht mein Leben beschlösse, wenn es nicht unedel wäre, seines Vaterlandes zu vergessen, so sehr es uns selbst und alte gute Dienste der Vorfahren vergessen haben mag.”

“Ich wüßte nicht”, sagte Theodor lächelnd. “Ihr erweist Altengland nur einen Dienst, wenn Ihr an Euerm Teil Rom erobert und so in die Fußstapfen Eures Urahnen tretet.”

“Ihr seid ein Spötter”, sagte sie und gab ihm einen leichten Schlag mit dem Fächer. “Aber wenn ich auch noch in den Jahren stünde, wo Euer Spott artiger wäre, meint Ihr im Ernst – vorausgesetzt, Ihr hättet einigen Grund zu Eurer Äußerung und es wäre jemand um mich bemüht – meint Ihr, sag’ ich, daß englischer und italienischer oder eigentlich römischer Charakter sich auf die Länge miteinander vertragen?”

“Ihr wißt, teuerste Freundin, daß die Liebe Wunder tut, Abgründe ausfüllt und Schranken niederreißt. Für die Charaktere fürchte ich nicht. Fände sich die *Bildung* übereinstimmend, was sollte dem *Herzen* nicht gelingen! Ich habe mehr Ehen an verschiedenem Geschmack als an verschiedenen Leidenschaften zugrunde gehen sehen. Aber welcher Römer würde zum Beispiel Euren Geschmack an Rom nicht teilen?”

“Ihr habt recht”, sagte sie, “im Grunde ist die Liebe Geschmackssache.” – Sie zog den grünen Schleier übers Gesicht und schien in ernstlichen Betrachtungen ungestört bleiben zu wollen.

Die beiden jungen Leute gingen nun ein wenig voran, denn sie hörten Miß Betsy halblaut mit sich selbst reden, wie es ihr oft begegnete, und wollten ihre Träume nicht belauschen. “Die Gute”, sagte Marie mit ihrer sanften Stimme, “die Reise hat sie ganz aus ihrer Fassung gebracht. Sie hatte auch sonst wohl einen abenteuerlichen Zug, den sie aber in England unschuldig an der Politik ausließ. Mit dem ersten Fuß auf das Festland ist dieser seltsame Hang, Erlebnisse zu *machen*, in ihr aufgewacht und hat uns auf der Reise schon manche Sorge um sie und freilich auch manchen Anlaß zu Lachen gegeben.”

“In jüngeren Jahren muß ihr dies phantastische Wesen allerliebst gestanden haben”, sagte Theodor. “Ältere Leute wissen in der Regel, daß man schon vollauf zu tun hat, Schicksale, die kommen, zu *nehmen*, und daß es mißlich ist, sie aufzusuchen. Hoffentlich wird sie es mit ihrem höflichen römischen Freunde bald ebensowenig ernst nehmen, als er es

mit ihr von Anfang an genommen hat.”

“Ich sah sie beide nach Haus kommen. Er war um vieles jünger, ein ansehnlicher Mann mit etwas übermütigen, aber feinen Zügen.”

“Was haltet *Ihr* von der Streitfrage, die Miß Betsy aufwarf?” fragte Theodor nach einer Pause.

“Von welcher?”

“Ob Menschen verschiedener Nation füreinander taugen?”

Marie schwieg eine Weile. “Je mehr die Menschen voneinander wollen”, sagte sie dann, “und je mehr sie einander zu geben wünschen, desto verwandter, dünkt mich, müßten sie sein. Und selbst dann – ich habe einen Engländer gekannt, der mit einer Kreolin verheiratet war. Sie nahmen beide das Leben leicht und äußerlich; er freute sich, eine schöne Frau zu haben, und sie schien zufrieden, daß er sie mit Reichtum überschüttete. Und doch war etwas zwischen ihnen, etwas Klimatisches, wo sie nun auch leben mochten. Sie wurden nicht recht froh miteinander.”

“Sie waren aus verschiedenen Zonen. Aber wenn sie nordländisches Blut gehabt hätte?”

“Es mag sein. Und doch – ich spüre es an mir selber. Ich bin im Gebirge aufgewachsen und habe mich langsam an die weichen römischen Lüfte gewöhnen müssen. Nun haben wir Winter. Droben liegt der schöne, klare Schnee. Wenn wir heut wieder bei den Eltern sind, am Kamine sitzen, das Wasser im Kessel singt, und ich alles um mich habe, was zu meinem Leben gehört, sollte ich billig *ganz* glücklich sein können. Doch gestehe ich, daß mir dann erst recht das Heimweh kommen könnte nach unserem Landhause, wo die alten Ahornbäume vor den Fenstern stehn und hinter dem Garten das verschneite Feld liegt, lange nicht so schön wie dort drüben die Campagna, und der Himmel darüber ganz in trüben Nebeln versunken, während dieser Horizont, der so rein ist, mich erquicken und erheitern könnte. Es ist dennoch die Fremde. Und so ein Fremdes mag wohl auch zwischen den Menschen bleiben.”

Sie hatten das Gespräch bisher englisch geführt. Er fing plötzlich Deutsch an, dessen sie völlig mächtig war bis auf einen geringen Akzent. “Erlauben Sie mir”, sagte er, “daß ich deutsch spreche. Sie haben mir von Ihrem Heimweh mitgeteilt. Als Sie von Ihrer winterlichen Stille erzählten, mußte ich an deutsche Winter denken, die nun hinter mir liegen und so nie wiederkommen werden. Ich hörte wieder den leisen Ton, wenn die Raben durch die kahlen Zweige strichen und die kleinen dünnen Äste brachen, daß ein feines Schneewölkchen am Fenster vorbei niederstäubte. Meine Mutter lag dort monatelang ans Ruhebett gefesselt; sie konnte und wollte nicht mehr in die unruhige Stadt. Der alte Landsitz hatte sonst nur sommerliche Bewohner gesehen, fröhliche Jagden, heitere Spaziergänge. Jetzt war er die Zuflucht im Winter, wo die Mutter sich von ihren

beschwerlichen Badereisen erholte.”

“Sie waren dann bei ihr?”

“In den ersten Jahren nur immer auf Wochen. Den letzten Winter aber ließ sie mich nicht von sich. Ich saß die vollen Tage neben ihr, arbeite und sprach dazwischen oder spielte ihr ihre Lieblingsmelodien vor, jene einfachen alten Lieder, die nun ganz aus der Mode sind. Der kleine Saal ging auf den Garten hinaus mit vielen hohen Fenstern. Ich sehe noch meinen Vater auf der Terrasse davor auf und nieder wandeln mit der Bärenmütze und kurzen Pfeife. Er konnte die Luft des geheizten Raumes nicht lange ertragen. Aber selten verließ er jenen Platz, und wer ein Geschäft mit ihm hatte, mußte ihn dort aufsuchen. Von Zeit zu Zeit kam er auf eine Viertelstunde zu uns herein. Ich werde den Blick nie vergessen, mit dem dann meine arme Mutter zu ihm aufsah. Sie hatte schöne, erklärte blaue Augen.”

“Dann starb sie?”

“Im Frühling. Der Vater bald darauf. Er verunglückte auf einem Ritt. Seit die Mutter von uns gegangen war, hatte er nicht Ruhe, bestieg die wildesten Pferde und blieb oft halbe Tage lang aus, so sehr ich ihn beschwor, sich zu schonen. Ich kannte ihn, ich wurde die unheimliche Angst nicht los – ich hatte nur zu sehr recht.”

Sie waren im Grunde angekommen und blieben stehn, ihre Begleiterin zu erwarten. Marie stand einige Schritte von ihm, so daß er, wie er sich wandte und die Gegend überschaute, ihr volles Bild vor sich hatte. Die schönen, klaren Züge waren wehmütig überflort; unter den gesenkten Augenlidern schimmerte es feucht. Als sie sie aufschlug, sah er die blauen Augen groß und ernsthaft auf der Landschaft ruhen. Er kannte schon diesen Blick. Er hatte ihn früher vermieden, denn er wußte, welche Macht er hatte. Jetzt überließ er sich ihm zum ersten Male. “Marie!” sagte er. Sie regte sich nicht und sah ihn nicht an. Da erreichte sie die kleine nachdenkliche Freundin. Das Gespräch ward wieder angeknüpft, während sie die Höhe von Tivoli erstiegen. Marie aber nahm nicht teil daran.

Als sie gegen die erste Dämmerung von Tivoli aufbrachen, nun heiterer vom Wein, und Theodor die Damen eben in den Wagen gehoben hatte, sagte der alte Herr zutraulich zu ihm: “Ich steige nicht eher ein, als bis ich weiß, wann wir Euch wiedersehen, teurer Sir. Ich habe noch eine kleine Angelegenheit, die mir und uns allen sehr wichtig ist und die ich gern mit Euch beraten möchte. Sie betrifft unseren armen Edward. Ich weiß, Ihr kommt am ehesten, wenn Ihr wißt, daß man auf Euren Beistand rechnet.”

“Kommt heute abend noch”, bat die Mutter.

Er versprach es. Als man ihm sein Pferd brachte, sah er einen ängstlichen Zug auf Mariens Gesicht. Er saß bald im Bügel, und das

muntere Tier leicht regierend, begleitete er eine Strecke weit den Wagen. Alsdann blieb er zurück, ritt langsamer und ließ den Tag an sich vorüberziehen. Die Nacht überholte ihn. Er spornte nun wieder das Pferd, und in der Meinung, einen Umweg abzuschneiden, ritt er quer über die Heidefläche. So war er in Bianchis Nähe gekommen.

Er schüttelte sich jetzt, warf Holz noch in die Glut und starrte mit seinen schwarzen Augen ernsthaft hinein. 'Was werden sie denken', sagte er bei sich selbst, 'daß ich ausgeblieben bin! Was wird *sie* denken! Es ist nun zu spät, einen Boten zu schicken, und wen hätte ich auch? Sie wird zu Haus sitzen und nicht wissen, was dieser Tag bedeuten mag. Oder – chi sa, se mai!'

Dann wartete er wieder seines Dienstes bei dem Kranken, ging auf und ab und vertiefte sich in den Medusenkopf, den der Feuerschein warm anflug, der Farbe des schwindenden Lebens täuschend gleich, wo das widerwillige Blut mit dem Todesschrecken kämpft. Das ergriff ihn mit Gewalt. Er mußte endlich die Augen abwenden und entdeckte nun erst auf dem dunkeln Sims des Kamins einige freche Figürchen, teils nach verrufenen pompejanischen Bronzen, teils von neuer Hand, in die Wette mit jenen zügellos und lebendig. Daneben lag ein zerrissenes, verstaubtes Exemplar des Ariost.²⁰ Danach griff er und las begierig. Es war das einzige Buch, das er entdecken konnte.

So gingen die Stunden. Lange nach Mitternacht stöhnte der Schlafende heftig auf und schlug mit den Händen im Traum um sich. Als Theodor ihm das verschobene Lager wieder zurechtrückte und die Decken neu über ihn breitete, erwachte er vollends und fuhr auf. Wie zur Gegenwehr tastete er umher und rief mit entschlossener Stimme: "Wer seid Ihr?"

"Ein Freund; erkennt mich nur!" erwiderte Theodor.

"Das ist gelogen; ich habe keinen!" schrie der Verwundete und strebte in die Höhe. Der Schmerz an den verbundenen Gliedern klärte ihn auf; er sank zurück und sammelte sich vollends. Eine Zeitlang lag er still. Dann sagte er sanfter: "Ihr seid's. Nun erkenn' ich Euch. Was tut Ihr hier zu dieser Zeit? Warum seid Ihr nicht nach Haus gegangen? Seid Ihr anders als andere Mutterkinder, die im Wachen rechtschaffen sind, nur um einen ruhigen Schlaf zu haben? Geht! Ihr habt Euren Schlaf verdient; warum bewacht Ihr meine Träume?"

"Der Arzt will, daß Eure Wunden über Nacht kühl gehalten werden. Ich konnt' es den fremden Menschen nicht anvertrauen."

"Seid Ihr nicht auch ein fremder Mensch?"

"Nein, denn ich tue es nicht um ein paar Paul.²¹ Ich tu es Euch zuliebe."

Der andere lag eine Weile stumm. Dann sagte er mit seltsamer

Heftigkeit: "Ihr tötet mir einen Gefallen, wenn Ihr ginet. Es ist mir wie eine Krankheit, wenn sich ein Mensch um mich bekümmert, und wenn ich danken soll, bin ich ungeschickter als ein alter Mann, der einer Dirne aufwarten will."

"Was geht mich Euer Dank an! Ich bleibe, weil Ihr mich braucht. Könnt Ihr mich entbehren, so sollt Ihr nicht zu klagen haben, daß ich Euch beschwerlich falle."

"Ich kann nicht schlafen, wenn ich Euch dasitzen und frieren weiß."

Der andere schürte das Feuer. "Ich hoffe, Ihr spürt bis da drüben hin, daß mir warm sein muß."

Nach einer Pause, in der der Kranke mit geschlossenen Augen gelegen hatte, fragte er von neuem: "Ihr seid ein Lutheraner, Herr?"

"Ja."

"Ich wußt' es", sagte Bianchi vor sich hin. "Er will die Kirche um eine Seele betrügen. Darum tut er das alles. Sie sind nicht besser als wir."

"Ihr redet im Fieber", sagte Theodor nachdrücklich. "Redet, was Ihr wollt."

Sie schwiegen jetzt eine lange Zeit. Theodor legte nach wie vor frisches Eis auf, und Bianchi lag indessen, das Gesicht nach der Wand gekehrt, regungslos, als ob er schlief. Plötzlich, als Theodor wieder mit ihm beschäftigt war, warf er sich herum und stützte sich auf. Mit dem verwundeten Arm haschte er nach Theodors Hand und hielt sie mit seiner heißen und sagte leise und langsam: "Ihr seid gut! Ihr seid gut! Ihr seid ein Mensch." – Die Schwäche übermannte ihn, er fiel aufs Stroh zurück und brach in ein krampfhaftes Weinen aus. Als die Tränen nachließen, schlief er von neuem.

* * *

Als er erwachte, brach helles Tageslicht durch die Spalten des Ladens, daß eine sonnige Dämmerung um ihn war. Er sah den Burschen an seinem Bett und den Arzt und hörte, daß Theodor am frühen Morgen, da der Bursch gekommen, in die Stadt hinuntergegangen sei, ohne ein Wort von Wiederkommen zu sagen.

Den halben Tag verbrachte er so, unruhig, sinnend, hinaushorchend nach dem Flur. Ein paar Mäuse, die er gezähmt und für die er sonst in aller Not und Drangsal Aufmerksamkeit hatte, kamen bis in die Mitte des Zimmers, blinzten ihn an, piffen und schwänzelten, ohne daß er einen Blick auf sie warf. Der Bursch, der es nicht wußte, daß sie Hausrecht hatten, verscheuchte sie. Es pochte einer, der einen Auftrag vom

Kunsthändler brachte auf ein Paar Ohrringe in roter Muschel. Er ließ ihn ohne Bescheid abweisen. Nicht anders einen Bildhauer seiner Bekanntschaft, dem das Gerücht des furchtbaren Abenteuers zu Ohren gekommen und der gutherzig genug war, den Einsamen aufzusuchen.

Indessen war Theodor schon ziemlich früh die steinernen Stufen eines großen Hauses hinaufgestiegen, in dem Mariens Eltern wohnten. Der alte Diener öffnete ihm. "Die Herrschaften haben Euch lange erwartet gestern abend", sagte er. "Ich wurde nach Eurer Wohnung geschickt, aber Ihr waret nicht nach Hause gekommen. Miß Mary meinte, wenn Euch nur kein Unglück zugestoßen sei, da Ihr zu Pferde gewesen! Gottlob, Ihr seid ja wohl auf."

Theodor antwortete nicht. Er hörte von innen Musik, eine Beethovensche Sonate. Plötzlich brach sie ab, ein Sessel wurde geschoben, ein Kleid rauschte. Als er eintrat, stand er vor Marien, die in der Richtung nach der Tür mitten im Zimmer stehengeblieben schien. Sie suchte nach Worten, ihre Wangen glühten. Da ergriff er hastig ihre Hand mit beiden Händen und sah nun, daß ihre Augen verweint waren. "Marie", sagte er, "ich höre, daß ich Ihnen mehr abzubitten habe, als ich dachte. Sie hatten Unruhe um mich!"

Sie versuchte zu lächeln. "Ich freue mich, daß es unnötig war", sagte sie. "Sie werden verhindert worden sein; es war töricht, sich gleich das Schlimmste zu denken. Ich will meine Eltern rufen."

Er hielt sie dringend zurück. "Sie haben geweint, Marie?"

"Es ist nichts; ich hatte eine schlechte Nacht, und eben hat mich die Musik in allen Nerven erschüttert."

Er ließ ihre Hände los, sie blieb auf derselben Stelle und stützte sich auf die Lehne des Stuhls. Ein paarmal durchmaß er das Zimmer, dann blieb er ihr gegenüber stehn. Er nahm wieder ihre Hände, er stammelte ein Wort, dann umschlang er sie heftig. Sie ruhte weinend, innig und selig in seinen Armen.

"Wir wollen zu den Eltern gehn", sagte Marie, als sie sich aus dem Sturm der ersten Umarmung wieder aufrichtete. "Komm!"

Sie faßte ihn sanft bei der Hand. Er wäre gern geblieben; es dünkte ihm, als werde sie ihm wieder entrissen, wenn sie unter anderen wären. Doch ließ er sich führen. Sie fanden die Eltern zusammen im Kabinett der Mutter. Als er eintrat, war es ihm, als müsse er seine Geliebte bitten, zu verschweigen, was zwischen ihnen vorgegangen war. Er fühlte sich unfähig, darüber Rede zu stehn und anderen als ihr selbst in seiner Trunkenheit zu begegnen. Da hatte sie schon das Wort gesagt. Die Mutter, eine große, feierliche Frau, schloß ihn herzlich in die Arme. Wie sie auch sonst ein wenig förmlich war, konnte sie auch jetzt das freudige neue Schicksal nicht ohne einige würdige Segensworte entgegennehmen, die, so

herzlich sie gemeint waren, in Theodors Stimmung fremd hineinklangen. Der Vater sagte nichts; er drückte seinem Eidam immer wieder die Hand und küßte die Stirn seiner Tochter.

Theodor erzählte nun die Ereignisse des letzten Abends. Marie lehnte an seiner Brust und schlang, als er von dem Kampf erzählte, den Arm ängstlich um ihren Geliebten, wie um sich zu versichern, daß alles vorbei sei und sie ihn ja sicher besitze. Die Mutter gab ihr einen Wink, der dem jungen Manne nicht entging. Da entzog sie ihm den Arm und saß nun neben ihm, ohne ihn zu berühren. Er empfand es peinlich; er fühlte auch, als er nach einigen Stunden gehen mußte und sie an der Schwelle der Tür noch einmal von Herzen küßte, daß sie es scheu erwiderte und ihm zuerst ihre Lippen entzog. Er ging mit einem wunderlichen Gefühl, einen Druck auf dem Herzen, eine widerwillig gedämpfte Glut in allen Pulsen. Draußen stand er unter der Pforte still. Die Straße war menschenleer; er kühlte sich die Stirn an dem steinernen Pfosten, streckte die Arme aus, als wolle er ein Stück des Himmels herabziehen und an seine Brust pressen, und ging dann etwas ruhiger den Weg zum Tritonen.

Eine leidenschaftliche Röte schlug in Bianchis erloschenen Wangen auf, als er Theodors Schritt draußen vernahm. Er richtete sich auf und sah ihm fest und voll entgegen, da er eintrat, größer und männlicher, als er ihm gestern erschienen. Theodor näherte sich dem Kranken und sagte: "Ihr seid erholt, Bianchi, und der Arzt ist zufrieden. Haltet Euch ruhig, ich bitt' Euch. Mich laßt ein wenig auf und ab gehn; meine Gedanken sind noch in Tumult, und meine Sinne wollen sich treiben."

Er sagte ihm nicht, von wo er kam, nicht, daß er vor wenigen Stunden sein Schicksal an ein Weib gebunden hatte. Aber es lag eine Glorie um ihn, von der Bianchi die Augen nicht abwenden konnte. Er hatte den Hut abgelegt und den Mantel über die eine Schulter geschlagen. Der Kopf stand frei auf der breiten Brust, die kurzen, krausen Haare ein wenig gestäubt, die Stirn ausgearbeitet und edel. So den Blick nach innen gewendet, die Arme überm Mantel zusammengelegt, schien er fast die Absicht seines Besuchs zu vergessen, ging auf und nieder, stieß mit dem Fuß an die brennenden Scheiter und sah ins Feuer. Endlich wandte er sich und sagte: "Erzählt mir von Euch, Bianchi!"

"Was wollt Ihr wissen?"

Der Ton dieser Frage, zweifelhaft, fast argwöhnisch, und doch ergeben und willfährig, berührte Theodors feines Ohr. Er schob einen Stuhl neben das Lager, faßte Bianchis Hand und sagte: "Nichts will ich wissen, als wie Ihr Euch fühlt; und wenn Ihr zum Sprechen keine Laune habt, so sagt mir's Eure Hand, die nur einen gelinden Rest von Fieber verrät."

Er fühlte den Druck dieser Hand, die sich ihm darauf verlegen

entzog.

“Ihr werdet bald soweit sein, daß wir auf Niewiedersehn voneinandergehn können. Vorläufig findet Euch noch in meine Zudringlichkeit; denn Ihr müßt wissen, daß ich nicht gesonnen bin, einen Künstler, wie Ihr seid, durch einen plumpen Burschen umbringen zu lassen.”

“Wie ich bin!” und er lachte schmerzhaft. “Wißt Ihr, wie ich bin? Wer weiß es? Ein Tagelöhner bin ich, der in Muscheln schnitzelt mit Weibergeduld für Weiber, daß sich seine gesunden Arme schämen, wenn sie einem Stück Marmor begegnen. Nun, es ist vielleicht gestern dafür gesorgt worden, daß die armen Krüppel sich nichts mehr vorzuwerfen haben.”

“Ihr redet wunderlich. Als ob nicht auf zwei Zollen Raum genug für den Geist wäre, der sich in zwei Worten offenbaren kann.”

“Für den Geist vielleicht; aber schwerlich für die Form.”

“Ihr müßt das erfahren haben”, sagte Theodor. “Aber seid Ihr gezwungen zu tun, was Euch widerstrebt?”

Der Kranke warf einen ruhigen Blick auf die nackten vier Wände und sagte: “An so viel Luxus, als Ihr da seht, bin ich gewöhnt. Ich habe freilich schon einmal gedacht, draußen auf dem Platz ein großes Stück anzufangen, am Brunnen mittags meine Artischocken zu essen und nachts zu Füßen meines Werks zu schlafen. Aber man ist weichlich und scheut das Wetter, und feige und scheut das Gerede. Ueberdies kann ich den Wein nicht entbehren noch die Weiber.”

“Wenn Euch aber Gelegenheit würde, Euch mit aller Sorglosigkeit an einen Marmor zu machen?”

Der Kranke richtete sich ungestüm auf. “Wißt Ihr, was Ihr anrichtet mit Eurer leichtsinnigen Frage?” rief er, und seine Augen funkelten. “Da seht in die Ecke! Dahin hab’ ich alles übereinander geworfen, was mir zuweilen mit solchen Fragen kam. Der Staub begräbt diese vorlauten Schreier nach und nach, und meine Augen wissen schon, daß ich’s ihnen nicht vergeben kann, wenn sie da herumgehen. Und ich war Narr genug und ließ mich wieder gelüsten, da es hieß, man solle Entwürfe einliefern zum Monument des verstorbenen Papstes. Ein paar Wochen seh’ ich und sinn’ ich nichts anders und bring’ es zustande mit allem Feuer und war selbst zufrieden mit meiner Sache. Ich Narr, mir was einzubilden! Das war gestern. Ich schlag’ es in ein Tuch und trag’ es selbst den weiten Weg zum Kardinalstaatssekretär; denn meine Seele hing dran, und ich sorgte, ein anderer möcht’s zu Falle kommen lassen. Nun muß ich erst dem Schlingel von Bedienten gute Worte geben und meinen letzten Scudo,²² daß er mich nur vorläßt. Drinnen war es dann schwarz und rot und violett von geistlichen Strümpfen, und besahm mich von oben bis unten, weil ich so

im einfachen Rock aus der Werkstatt weggerannt war. Ich denke: Laß sie gaffen! mache mir einen Mut und trete mit meinem Kompliment und Werk vor die Eminenz. Ich sehe gleich, daß er ungnädig ist und seine Nächsten schon die Mißlaune gekostet haben. Nun erklär' ich kurz, um was ich gekommen, und bitte, meine Skizze zeigen zu dürfen. Der Alte nickt, wie's seine Art ist, wirft einen halben Blick auf die Figuren, die mir unter den Schranzen doppelt anständig schienen, und sagt: 'Nicht übel: aber geht nicht, geht nicht! fehlt die Noblesse, mein Sohn, und der Hinblick auf die heilige Kirche! Tragt es heim und schmelzt es um. Der Ton ist ja noch naß!' Ich stand wie in einem Tollhaus. Umschmelzen, als ob meine festen Gedanken Brei wären. – Indem ich so keines Wortes mächtig bin, treten die Monsignori²³ heran, setzen die gelehrte Brille auf und tadeln hinten und vorn, daß keines Nagels Breite ohne Schimpf besteht, wie wenn der alte Wolf ein Schaf halb totgebissen hat und läßt es danach seinen Jungen, daß sie ihre Milchzähne dran durchbeißen. Hätt' ich reden können und sagen, was mir alles während des Arbeitens durch den Kopf gegangen, vielleicht daß der Alte andere Augen gemacht hätte, denn es soll ein guter Verstand in ihm sein. Nur war er gerade um die Stunde grämlich aufgelegt und ließ alles über mich ergehen. Es ward mir endlich des Schwatzens zuviel, dieses Geschwirrs von bunten Kinderbolzen, von denen keiner die Sache traf und jeder den Mann; denn es prickelte mich wie lauter Nadeln. Ein anderer hätte sich sacht geschüttelt und vielleicht das Feld behauptet. Ich aber – woher soll ich's haben? Mein Vater machte nicht viel Redens über seine Kameen, und wie er tot war, war's in Rom nicht lauter und nicht stiller. Und ich bin immer den Gelehrten aus dem Wege gegangen. So macht' ich mich auch diesmal von ihnen fort und verschwor's, je wieder mit ihnen anzubinden. Wie ich nach der Ripetta²⁴ hinunterkam, grimmte mich, und ich warf meine Skizze in den Tiber. Der mag sie umschmelzen, sagt' ich, und war erleichtert in mir, daß mich's trieb, spazierenzugehen in die Campagne. Da habt Ihr mich gefunden."

"Ihr sollt den Gelehrten nicht entgehen", sagte Theodor nach einer Pause scherzend, um den andern, der in ein Brüten versank, wieder auf die Gegenwart zurückzulenken. "Ihr hattet ein sicheres Gefühl, als Ihr Euch gegen meine Nähe sträubtet. Denn ich bin hier in Rom, um in Pergamenten zu kramen und verschollene Dinge auszugraben, denen wenige nachfragen, Geschichten der alten Städte Italiens, Staatsverhandlungen und Rechtsurkunden. Und so sind wir doppelt geschiedene Leute."

"Ihr mögt sein und tun, was Ihr wollt", sagte Bianchi lebhaft und halb für sich. "Ihr seid gut und schön und ein Deutscher."

"Ihr kennt die deutsche Gelehrsamkeit nicht. Sie ist weit

entsetzlicher als die römische. Mir selber graut gelegentlich davor. Schwache Seelen kann sie so furchtbar anblicken, daß sie davon versteinern, wie jene arme Schelme, die der Meduse ins Gesicht sahen.”

“Der Meduse?”

“Ihr müßt sie ja besser kennen als ich. Habt Ihr sie nicht auch dort in den Winkel geworfen und vielfach angefangen und halbvollendet in Muschel geschnitten auf dem Tische liegen?”

“Ich weiß nicht viel davon. Schon als Knabe gab mir mein Vater eine Paste, danach ich arbeitete. Ich liebte den Kopf, weil ich wenig Freude hatte und mich der finstre Tod in dem schönen Weibe lockte. Hernach sah ich das Rundbild in Villa Ludovisi²⁵ und hatte nicht Ruhe, bis ich’s zu Haus, so gut ich’s behalten, nachgeformt hatte. Es ist menschlicher und heftiger dort als bei den Griechen, wo’s zur Larve geworden ist. Ich habe nie danach gefragt, was sie davon fabeln, und lesen widersteht mir.”

“Wenn es Euch recht ist, les’ ich Euch die Geschichte vor, wie sie ein alter Poet erzählt hat.”

“Tut’s und bald, und – wann kommt Ihr wieder?” fragte er, als Theodor aufstand.

“Heute nacht”, sagte der junge Mann. “Aber nicht um vorzulesen. Denn Ihr seid noch nicht aus der Kur. Ich will nichts hören, ich weiß, was Ihr sagen wollt. Aber ein Kranker hat keinen Willen.”

Als er auf die Nacht wiederkam, fand er Wein auf dem Tisch und einen bequemen gepolsterten Sessel am Kamin. Bianchi schlief, und der Bursch flüsterte Theodor zu, daß er den Wein aus der Osterie holen und den Sessel von einer Nachbarin habe entlehnen müssen. Erst als beides angeschafft, habe sich der Herr beruhigt und sei eingeschlafen.

* * *

Am folgenden Abend las Theodor aus einem italienischen Ovid, wie er versprochen hatte. Er sah zuweilen übers Buch weg nach Bianchi, dessen Augen still an der Decke hingen. Kein Wort gab er von sich. Die ruhige Stimme Theodors schien ihn zu bezaubern, die Märchen, die er hörte, ihn im Innersten aufzuregen. So las der andere immer fort. Als er dann aufstand, seufzte Bianchi und rief: “Ihr geht? Ihr wißt nicht, wie ich genossen habe. Diese Geschichten waren mir wie verstümmelte alte Steinfiguren, die Glieder verzettelt, der Kopf weit vom Rumpfe und alle Umrisse verwittert oder zerstört. Während Ihr laset, fügte sich’s von selber zusammen und steht nun ganz vor mir. Hätt’ ich meine heilen Glieder! Es zuckt mir in den Fingern, ein Stück Ton zu kneten. Aber das soll nicht

sein, und Ihr geht – Ihr lächelt? Ich rate, wohin Ihr geht. Genießt denn Eure Jugend. Aber ich bedenke nun erst, um was für Nächte ich Euch gebracht habe!”

“Sie waren einsamer als hier, und wohin ich gehe, ratet Ihr nur halb, Bianchi. Ich mache zwei alten Leuten den Hof, und nur dann und wann streift die weiche Hand ihrer schönen Tochter heimlich meinen Arm. All mein Genuß ist Schauen und Hoffen.”

“Und Ihr könnt das so gelassen eingestehn und knirscht nicht vor Ungeduld und Verlangen? Ich hatt’ einmal so eine fruchtlose Verliebtheit. Wie ein Wurm wand ich mich am Boden und verfluchte meine Augen, die mir den Possen gespielt hatten.”

“Ich segne sie, und wenn ich ähnliche Tollheiten in meinem Blut spüre, lüfte ich meine dumpfen Sinne im Freien, das Forum auf und ab, oder zu den Kapuzinern hinauf, wo nun Schnee um den Stamm der Palme liegt. Sie muß den Winter auch überstehen, so gern ihr sommerlich zumute wäre.”

“Könnt Ihr’s leugnen, daß es Euch dennoch mehr plagt und verzehrt, als der ganze Bettel wert ist? Es macht uns müßig und weibisch, und das ist das Schlimmste. Wenn wir nicht die Narren wären, uns gerade ins Unmögliche zu vergaffen – alles wäre gut, eine so gut wie die andere, wenn sie hübsch wäre und zu haben.”

“Ich denke nicht. Ich brauch’ eine andere als jeder andere, wenn ich ihr nicht um jeder anderen willen davonlaufen soll.”

“Wer spricht auch *davon*?”

“Ich denke, wir beide.”

“Ich nicht”, erwiderte Bianchi. “Ich konnte mir nicht einfallen lassen, daß Ihr Euch so schlecht auf Euren Vorteil versteht, mit diesem Gesicht und diesen Jahren.”

Darauf schwieg er verstimmt. “Lassen wir das sein, wie es sein will”, sagte Theodor heiter, “und jeder Sorge für sich und freue sich, wenn der andere auf seine Weise sich ein gutes Leben schafft.”

Sie sprachen in Zukunft nicht wieder über diesen Punkt; Bianchi schien ihn durchaus vergessen zu haben, Theodor rührte ihn nicht an. Die alte Herbigkeit und Wildheit des Kranken kam ihm wieder, je mehr die Wunden heilten, und jene einzelnen Spuren von Weichheit, die er seinem Freunde gezeigt, vergingen für immer. Er vermied es, ihm die Hand zu reichen, er sprach nie von sich selbst und seinen Stimmungen, fragte nie nach Theodors Tun und Treiben und seinem früheren Leben und nannte ihn kaum einmal bei Namen. Doch wehrte er nichts von Theodors Seite ab, nicht sein häufiges Kommen, nicht die kleinen Erfrischungen, die er ihm brachte. Nur einmal, als er in einem Körbchen Früchte sah unter den ersten Veilchen, mit jener Aufmerksamkeit geordnet, wie sie nur eine

Frauenhand solchen Dingen zuwendet, stellte er das Geschenk kalt und ohne ein Wort zu sagen auf den Sims des Kamins neben jene unsaubern Figürchen. Theodor schwieg; aber als er ging, nahm er den Korb zu sich, wie er ihn gebracht hatte.

Übrigens fuhr er fort, ihm vorzulesen, Dichter der Alten, Stücke aus Dante²⁶ und Tasso,²⁷ endlich auch aus Machiavelli.²⁸ Es fiel ihm auf, als sie auf politische Dinge zu reden kamen, daß Bianchi sich mit Heftigkeit zu tyrannischen Grundsätzen bekannte, wie alle tun, die an sich wenig Freude haben und die Menschen verachten. Sie stritten dann leidenschaftlich und unfruchtbar. Um so näher begegneten sich ihre Meinungen und Gefühle, sobald es sich um künstlerische Dinge handelte. Bianchi konnte nun schon wieder am Stock sich bis zum Tische schleppen und seine Arbeiten wieder aufnehmen. Während er dort saß und seine Köpfe schnitt oder eigene kleine Kompositionen in Wachs bildete, um sie nachher zu schneiden, las ihm Theodor aus dem Homer. Die Götter, deren Bilder, im weiten Rom verstreut, ihm so lange nur schöne Leiber gewesen, von verworrenen Begriffen dürftig belebt, wachten nun klar in ihm auf. Es war, als fasse er jetzt erst die Welt, in der er im Traum herumgegangen, offen ins Auge. Und nun wuchs die Begier, wieder hinauszugehen und das alles leibhaftig aufzusuchen, was er sich in der Phantasie neu und zum ersten Male angeeignet hatte.

Die Mandeln blühten rötlich in den Gärten am Monte Pincio,²⁹ als er zuerst wieder an der Brüstung stand und über das weite Rom zu den Höhen hinübersah. Unten lag die Stadt laut und sonnig, der Strom blinkte herauf, von der Engelsburg flatterten die großen Wimpel der Standarten im Winde, der weich vom Meer herüberkam, und über der Runde spannte sich das zarte, feine Blau des römischen Märzhimmels. Bianchi stützte sich auf den Stock und sah finster unter den Augenbrauen hervor, wie er tat, wenn er sich gegen sein eignes Herz wehrte. Auch Theodor stand in tiefen Gedanken. Endlich wandte er den Blick von der Ferne ab, sah Bianchi ernsthaft an und sagte: "Ihr seid wieder genesen: noch wenige Tage, so werdet Ihr da unten in der Ripetta in Euer neues Studio ziehen, und ich denke, wir bleiben wohl noch ein Stück Zeit zusammen, wenn ich auch meine Arbeiten nachdrücklicher weiterführen und die Freude, mit Euch zu sein, beschränken muß. Es fügt sich nun, daß mir ein Vorwand kommt, Euch öfter aufzusuchen, als sonst vielleicht erlaubt wäre; wenn Ihr anders darauf eingehen wollt, das neue Studio mit einem Werk einzuweihen, an dem mir selbst viel gelegen ist. Die Sache ist diese. Eine Familie, der ich befreundet bin, hat sich hier niedergelassen, vielleicht auf immer. Der Mann, ein Deutscher, lebte früher in England, heiratete eine Engländerin, und sie brachte ihm zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, der an der Schwindsucht litt, sollte hier das Letzte zu

seiner Rettung versuchen, und so siedelte die Familie über. Ich habe den jungen Menschen geliebt wie alle, die ihn kannten, und kann es noch nicht verwiden, daß ich soviel Reiz und Adel drüben bei der Cestiuspyramide in die Erde versenken sah. Das war im vorigen Winter. Nun wollten die Eltern ihm einen Stein am Hügel aufrichten mit einem Bildwerk, das sein Wesen bezeichnet und sein Andenken ehrt. Ich wüßte keinen, dem ich dies Werk lieber anvertraute als Euch."

"Ihr könnt auf mich rechnen, Teodoro", sagte der Bildhauer. "Ich will sehn, was ich kann."

"Wollt Ihr nicht die Eltern kennenlernen und Ihnen abhören, in welchem Sinne sie das Denkmal ausgeführt wünschen?"

Der andere schwieg eine Weile. "Nein", sagte er dann ruhig, "ich mag keine Bekanntschaften und keine Tränen. Ihr habt ihn liebgehabt, das ist genug; ich mach' es für Euch – Ihr dürft mir das nicht verdenken", fuhr er nach einer Pause fort: "ich taue da nicht hin. Wer mich haben will, muß mich überfallen wie den Bären in der Grube; wo ich nicht entrinnen kann, setz' ich mich fast manierlich auf die Hinterfüße und brumme mein Wort mit drein. Aber auch das verhütet noch. Laßt mich machen. Ich will nichts sagen und zeigen, bis der Entwurf so weit gediehen ist, daß auch Laien einen Eindruck haben. Hernach mögen sie kommen."

Sie sprachen von anderen Dingen; Bianchi wurde immer heller und fast übermütig, während auf Theodors Gesicht ein Schatten lag. So blieben sie den Tag zusammen, und es war beiden wie Abschied zumute; denn zum ersten Male umgab sie der offene gemeinsame Tag, Lärm der Wagen und Gewühl lachender Spaziergänger. Bianchi nahm Theodors Arm nicht an. Langsam ging er neben ihm, Frauen und Mädchen musternd, deren viele ihn zu kennen schienen, und hie und da einem Bekannten zunicke, ohne zum Anreden einzuladen. War er vorüber, so blieben die Leute stehn, flüsterten, zeigten nach ihm und sahen ihm mit einer Miene, in der sich Mitleid, Respekt und eine Art von Grauen mischten, eine Strecke weit nach. Er selbst schien das nicht zu gewahren; er sah nur voraus, oft über die Menschen fort nach den Villen vorm Tor und der Campagne dahinter, und seine Augen blitzten. "Woran denkt Ihr?" fragte ihn Theodor. – "Ich denke, wie meine Mäuse das Schicksal überstehen werden, daß ihnen der Palazzo überm Kopf abgetragen wird und über kurz der Himmel in ihre Heimlichkeiten und Schlupflöcher eindringt. Ich weiß, sie haben Familie bekommen. Arme Tröpfe! das lebt so lange unter einem Dach mit einem, ohne einem was abzulernen. Wie mir zumute ist, daß ich arm und frei und allein bin und meinen Umzug auf einem Karren zustande bringen kann!" – Er streckte seine Arme aus und wiegte sie so in der Höhe, als biete er sie jeder Last, die ihrer warte. Er sah jünger und frischer aus als je.

Am Abend bat er Theodor, ihn in eine Schenke zu begleiten, in der

er vor seiner Verwundung manche Nacht zugebracht habe. "Ihr sollt erfahren, was gute römische Gesellschaft ist und ein Rest besserer Geschlechter", sagte er. "Sie sind ein wenig mißtrauisch gegen fremde Elemente, die so hineinschneien, ohne zu wissen, was sie wollen, oder gar es nur zu gut wissen. Das soll ja in vornehmen Häusern nicht viel besser sein. Laßt sie treiben, was sie wollen, und trinkt Euren Wein, ohne viel Wesens zu machen. *Mir* geht manches hin, auch wenn ich einen Deutschen mitbringe, denn sie halten was auf mich."

Er führte ihn einige Gassen weit vom Tritonen nach der prächtigen Wasserkunst des Bernini,³⁰ der Fontana di Trevi, hinunter. Gegenüber der hohen Grotten- und Nischenfassade, im deren Mitte der Wassergott über den künstlichen Felsen steht und die Bäche beherrscht, die von allen Seiten in die tiefe Schale vorbrechen, stand ein niedriges altes Haus, über der Tür eine trübe Laterne. Sie traten in den geräumigen Flur ein, der die ganze Breite des Hauses einnahm und zum Schenkkzimmer hergerichtet war. Hinten schlug das Herdfeuer vor der geschwärzten Wand auf, und zur Rechten führte eine Treppe nach dem oberen Geschoß. An Gerät war nichts zu sehen als Bänke und Tische, deren sich eine bunte, schweigsame Gesellschaft bemächtigt hatte. Ein Bursch trug die Schüsseln mit gerösteten Fischen, Salat und Maccaroni auf und verschwand von Zeit zu Zeit durch eine Falltür, aus der er mit frischgefüllten Flaschen wieder auftauchte.

Ein freudiger Ausruf schallte aus der Tiefe der Halle herüber, als die beiden eintraten. "Eccolo!"³¹ rief eine stattliche Frau und drängte sich durch bis zur Tür, die Hände an der Schürze trocknend, "eccolo! Tausendmal willkommen, Sor Carlo!" und sie reichte ihm herzlich die Hand. "Ein Mezzo vom Frascati,³² Checo, vom neuen, der gestern angekommen. Sieh, sieh, Sor Carlo! Von wem glaubt Ihr, daß ich eben mit meinem Domenico gesprochen habe, eben in diesem Augenblick, und sagte ihm: 'Domenicuccio', sagt' ich, 'du bist ein Bärenhäuter und Taugenichts, daß du nicht einmal nachfragst, wie es unserem Sor Carlo geht. Denn ich, wie du weißt, habe alle Hände voll, und Kinder, Gäste und dich selber zu bedienen, du Tölpel. Aber es dünkt mich tausend Jahr, bis ich ihn wiedersehe – der brave Junge, der er ist.' – 'Lalla mia', sagt' er 'morgen will ich hinauf, und', sagt' er, 'wenn du willst, Lalla, eine Kleinigkeit von dem neuen Wein würd' er nicht verschmähen, so ein Bariletto', sagt' er. – Ich aber: 'Nun', sag' ich, 'Cuccio, das ist noch der gescheiteste Einfall, den du die zehn Jahre, daß wir verheiratet sind, gehabt hast', und eben tritt der Girolamo, der Carretiere,³³ dazu und sagt, daß er Euch heut auf dem Pincio gesehn, und ich sage noch: 'Gelobt sei Gott! so dauert's nicht lang, und wir sehn ihn auch' – da macht Ihr die Tür auf und steht vor mir, und wahrhaftig, es hat Euch gut getan, Ihr seid

schöner geworden, Sor Carlo; ich wollt's dem Girolamo nicht glauben, aber die Madonna hat ein Wunder getan, ich habe nicht umsonst meine Rosenkränze für Euch gebetet."³⁴

"Also Euch hab' ich's zu danken, Sora Lalla, daß mich die Tollwut verschont hat und alles nur auf ein bißchen Lahmheit hinausgelaufen ist. Ihr habt die bravste Frau in Rom, Domenico, eine Heilige, einen wahren Schatz von Gnadengaben! Ja, da bin ich wieder!" und er schüttelte dem Wirt, einem etwas schwerfälligen, zutulichen Burschen kräftig die Hand. "Und hier der Herr, daß Ihr's wißt, ist mein Freund, der mich den Bestien aus dem Rachen geholt hat. Aber holla! da drüben sitzt mein edler Gigi und ißt und trinkt und kann seine Kehle nicht eininal zu einem 'guten Abend' abmüßigen. Schämt Euch, Gigi; alte Freunde und eine so kalte Manier sich wiederzusehn, wenn einer wie San Lazzaro auferstanden ist von den Toten!"

"Er hat mehr als alle nach Euch gefragt, Sor Carlo", flüsterte die Wirtin, "und konnt' eine Woche lang nicht ein Glas 'runterbringen, wenn auf Euch die Rede kam. Er scheute sich nur, Euch zu besuchen."

Der, von dem die gute Frau sprach, saß an einem der mittleren Tische, fest gegen die Wand gelehnt, und schob große Bissen in den Mund. Er war wohlbeleibt, der kahle Kopf mit einem Käppchen bedeckt, sein schwarzer Rock bis an den Hals zugeknöpft, sein Benehmen von einer gewissen Feierlichkeit, die ihn unter den anderen auszeichnete, ohne daß er sich überhob.

Bianchi trat zu ihm und grüßte über den Tisch mit Händewinken. "Teurer Sor Gigi", sagte er, "laßt Euch nicht stören! wir kennen einander." – Er sah nun erst, daß die Augen des würdigen Mannes feucht schimmerten und daß er nur im Essen fortfuhr, um seine verlegene Freude nicht offenbar zu machen. "Er ist ein Sänger", raunte Bianchi seinem Begleiter zu, "der sich zu den Kirchen hält und bei Festen mitsingt. Sie haben ihn scheren wollen, weil er Bildung hat und was vorstellt; aber er hat ihnen die Feige geboten. Das sind alles freie Leute, soviel hier sitzen. Kommt, mein Freund Gigi macht uns Platz neben sich."

Indessen kam der Bursch, fegte mit einem nicht sehr saubern Tuche die Tischplatte und stellte die große offene Flasche vor die beiden. Theodor nahm Platz, während Bianchi noch hie und da Hände zu drücken und neugierigen Fragen zu antworten hatte. Eine qualmende Messinglampe leuchtete mit ihren drei roten Flämmchen über den Tisch. Der junge Mann brauchte einige Zeit, sich an den Dunst und Tabaksdampf, durch den der Geruch des siedenden Öls hinzog, zu gewöhnen. Bald aber vergaß er alles über dem Anblick eines auffallenden Paares, das ihm gegenüber am Tisch saß. Es war ein junges Mädchen in der Tracht derer von Albano; die rote Jacke umschloß knapp den eben erst

gereiften Busen, darüber war das Spitzentuch gefaltet, und große silberne Nadeln hielten über den Flechten das flache weiße Tuch fest, das die Form des Kopfes nicht verbarg. Das Gesicht stand im ersten Flor der Jugend, Schönheit und Gesundheit, der drei Grazien,³⁵ die in jenen Gegenden gern zusammenhalten; nur war der Ausdruck des Mundes von einer scheuen Weichheit und Hingebung, fast willenlos und schmerzlich, und die großen Augenlider bedeckten die Augen ganz, daß nur ein schmaler, funkelnder, schwarzer Streif verriet, daß sie wachten.

Sie aß von dem Teller vor ihr, langsam und teilnahmslos, und trank ein wenig vom Wein, und ihre braune Wange glühte immer in gleichem Feuer fort. Neben ihr saß eine Alte in römischer Tracht, lebhaft um sich blickend, aber schweigsam und ganz mit ihrem Wein und Essen beschäftigt, das sie gierig genoß. Sie hatten nicht das geringste miteinander gemein und schienen doch zueinander zu gehören.

Als Bianchi endlich dazu kam, sich auf seinen Platz zu setzen, und eben das erste Glas geleert hatte, fuhr er mit einem fast komischen Erstaunen zurück und rief: "Madonna santa! welch eine Schönheit! Wie kommt Ihr zu solch einer Nachbarin, Sor Gigi! Eine Nichte von Euch? Oder gar ein vergessenes Kind, das Euch eines schönen Tags vor die Augen gekommen? Gesegnet sei ihre Mutter!"

"Chè, chè!"³⁶ sagte der Sänger ernsthaft. "Ich wollte, Ihr hättet recht. Fragt sie selbst, woher sie kommt. Mir hat das Zuckermündchen nicht Rede stehn wollen."

Bianchi warf einen scharfen Blick auf die Alte und brummte vor sich hin: "So! so! Ich denke, wir kennen uns." Die Alte ward es inne und sagte, indem sie den Rest ihrer Flasche in ihr Glas goß: "Ein blödes Ding, meine Herren, ein armes, blödes Weisenkind, war bei schlechten Leuten drüben im Gebirg, als ich sie dort fand, und mich dauerte der jungen Kreatur. Wie leicht wird eins verdorben, wenn es in unrechte Hände kommt! Ich nahm es denn mit nach Rom, um Jesu Barmherzigkeit willen, und halt' es hier, so gut's eine arme Alte kann, in allen Ehren und Tugenden, das arme Ding! Schlag die Augen auf, Caterina, wenn die Herren mit dir reden wollen."

Das Mädchen gehorchte und ließ ihre großen, stillen Augen einen Moment auf Bianchi ruhen, um sie sogleich wieder zu senken. Der Künstler hob sich halb empor auf seinem Sitz und bog sich zu ihr hinüber.

"Du heißest Caterina?" sagte er.

"Ja, Herr!" erwiderte sie mit einer tiefen, aber weichen Stimme.

"Wie alt bist du?"

"Achtzehn Jahr."

"Du wirst einen Liebsten in Albano zurückgelassen haben oder mehr als einen."

Sie schüttelte den Kopf. "Was Ihr redet!" fiel die Alte hastig ein, "eine Jungfer ist's, sag' ich Euch", und sie nickte bekräftigend, "ja, ja, ein Ding, so unschuldig wie Christi Blut. Hätt' ich mich sonst ihrer angenommen?"

"Nun, nun! wenn ich's glaube, glaub' ich's ihrem Gesicht und nicht Eurem, Mutter. Kann sie tanzen? Der Herr hier ist ein Fremder, und ich gönnt' es ihm, daß er einen braven Saltarello kennenlernte."

Theodor sagte einige Worte, daß ihm ein Gefallen geschehen würde. Die Alte winkte der Wirtin; Caterina stand stillschweigend auf. Bald waren die nächsten Tische zurückgeschoben, daß ein geringer Raum frei wurde, und Lalla brachte das Tamburin. Während die Alte sich in einem Winkel damit zurechtsetzte, die übrigen Gäste der Schenke einer nach dem anderen herankamen und der Bursch, der die Gäste bedient hatte, sich zum Tanz anschickte, flüsterte Bianchi dem Freund ins Ohr: "Seht diese Gestalt und die Feinheit der Hände und Füße, und wie sie steht! ein vollkommnes Gewächs, wie ich keines sah, tadellos bis zu den allerliebsten Ohren, und weiß noch nicht viel von sich. Daß ich's dem Checo lassen muß, mit ihr zu tanzen! ich verstand es sonst wohl leidlich. Aber nun beschwör' ich Euch, tut alles auf, was Auge an Euch ist. Ein Wunder will sich begeben."

Theodor bedurfte der Erinnerung nicht. Er lehnte gegen einen Tisch und wandte keinen Blick von Caterina. Bei den ersten heftigen Tönen des Tamburins begann das Mädchen den Tanz. Lalla stand neben der Alten und klapperte und schnalzte mit den Kastagnetten; Sor Luigi, der Sänger, saß unbeweglich hinter seinem Tisch und begann schon nach den ersten Takten eine Melodie zu summen. Bald sang er das Lied und die Wort voll heraus. Die Worte, die Theodor nicht verstand, die fieberhafte Unruhe der eintönigen Instrumente und mehr als alles der hohe Zauber der Tänzerin verwirrten ihm allmählich die Gedanken, daß er drein sah, wie in eine fremde Welt. Das Bekannte, Eigne, Teuerste trat in eine nichtige Dämmerung zurück, die es aller Farbe entkleidete. Menschen, Gedanken, Wünsche und Hoffnungen wälzten sich in diesem Halbtraum nach dem Takt des dumpfen Tamburins durch seine Seele wie zu einer großen Musterung; er verwarf sie alle; es war ihm, als hörte er in sich rufen: Ihr seid wertlos und scheintot. *Hier* ist Leben und Seligkeit!

Mit dem Ende des Tanzes erwachte er und sah verstört um sich. Er griff nach seinem Hut. "Ihr wollt fort? schon? heute?" fragte Bianchi betroffen. "Ich sehe, es gefällt Euch nicht unter diesen meinen Freunden."

"Ihr kennt mich ganz und gar", erwiderte Theodor und sah düster vor sich hin. "Wie gern bliebe ich, wie gern! Aber ich habe ein Versprechen gegeben, ich muß in eine Gesellschaft; wir sehen uns morgen, Bianchi!"

“Oh”, murmelte Bianchi, “schade, schade! Nun, Ihr werdet Euch unterhalten, Euch und die anderen. Schade, schade!”

Er lächelte scharf und bitter, als Theodor den Rücken gewendet, doch schien es ihm nicht geradezu unlieb, daß er ging.

Draußen stand der junge Mann den Kaskaden gegenüber und sog den Hauch des Wassers und das lebendige Rauschen seines Sturzes in die verwirrten Sinne ein. Der Mond beschien dem Wassergott das Haupt und einen Teil der Brust. Unten blitzten nur Tropfen aus der Dunkelheit auf. Er stieg hinunter und trank, als wollte er den Rausch des Gemüts von sich tun, und saß dann eine Weile am Rande des Beckens. Die Sage fiel ihm ein, wer aus dieser Quelle getrunken, sei dem Heimweh nach Rom verfallen; da verlor er sich in peinliches Sinnen. Erst als drüben aus der Osterie das Tamburin von neuem klang, stieg er fast erschrocken aus der Tiefe auf. Mühsam zwang er sich, der Tür wieder vorüberzugehn und eine der Seitenstraßen einzuschlagen. Als er von fern zuletzt noch einmal den gedämpften Ton hörte, stand er einen Augenblick und kämpfte wieder. Dann ging er entschlossen tiefer in die Stadt hinunter nach Mariens Hause.

* * *

Die Unterhaltung stockte, als er eintrat; seine Braut stand auf, ging ihm entgegen und gab ihm herzlich die Hand. Er ließ einen kurzen, dringenden Blick auf dem edlen Gesicht ruhen, das unbefangen zu ihm aufsaß, und näherte sich dann der Mutter, die ihm freundlich einen Gruß entgegenrief und sich vorneigte in dem seidnen Sessel, ihm ebenfalls die Hand zu schütteln. Sie war, wie auch die Tochter, noch immer schwarz gekleidet, nur daß sie ihr Haar unter einer grauen Florhaube trug, während ein schmales schwarzes Band über der Stirn die braunen Locken des Mädchens zusammenhielt. Auch der Vater empfing ihn freundlich und stellte ihn einigen Herren vor, die um den lichterhellen Tisch saßen. Es waren zwei englische Herren, Brüder, alte Freunde des Hauses, die vor kurzem aus England gekommen waren. Den Fremden zuliebe sprach man Englisch.

“Ihr seid spät gekommen, lieber Theodor”, sagte die Mutter. “Ihr habt uns gefehlt, als wir unseren würdigen Freunden von den letzten Stunden unseres Edward erzählten. Meine armen Augen taten damals nur schwach ihren Dienst, und der Vater und Mary waren krank, wie Ihr wißt. Wir verloren alle mehr als Ihr, denn Ihr kanntet ihn kaum. So hattet Ihr am meisten Fassung und könnt ergänzen, was uns wie ein schrecklich zerrissener Traum, noch jetzt fast unglaublich, in der Erinnerung steht.”

Theodor war unfähig zu sprechen; die Stille im Zimmer, die

Stimmung der Erschütterung, in die er eintrat, fremde Gesichter und fremde Sprache beklemmten ihn aufs höchste. Und hier in diesem Augenblick, nachdem er kurz zuvor einem wonnevollen Leben ins Gesicht geschaut, sollte er Unbekannten vom Todbette des armen Edward erzählen. Ein Schauer überlief ihn und senkte ihn in jenen Zustand hellseherischer Dumpfheit zurück, der ihn vorher in der Schenke überkommen. Sein Herz hob sich wieder aus den festen Schranken, in denen es sich selbst begnügt und gebunden hatte, und fühlte sich über und außer ihnen. Es war nur ein frevelhafter Traum ohne Anteil des wachen Willens. Aber das Bild desselben trat auch im Wachen zwischen ihn und alles, was er bisher am Herzen gehalten hatte, und das Band, das ihn daran knüpfte, schien ihm morsch, seit der Traum es zerrissen hatte.

Die Gesellschaft gab es seiner Trauer schuld, daß ihm jede Antwort versagte. Er hatte sich neben Marien gesetzt und sah lange auf ihre feine, blasse Stirn. Das stille Weiß beunruhigte ihn. Die blauen Augen, die ihm klar und glücklich und ernsthaft entgegenschienen, hatten heut keine Gewalt über ihn. Er empfand es deutlich als seine eigene Unfähigkeit, daß er sich heut dieser adligen Gestalt nicht freuen konnte wie sonst, von diesen reizenden Lippen nicht begierig jedes Wort verschlang und jedes Lächeln sich bis ins Herz dringen fühlte. Er kämpfte eine Weile gegen diese Kühle an, die ihm sehr weh tat. Es war umsonst.

Sie ward es inne, daß er etwas zu bekämpfen hatte. Aber die Gegenwart der anderen wehrte ihr, mit vertraulicher Inbrunst der Leidenschaft das Herz festzuhalten, das sich ihr entzog.

Der eine der Fremden fragte nach dem Denkmal, das dem Verstorbenen bestimmt sei. Theodor ermannte sich und erzählte, daß er eben heut auf den Wunsch der Eltern die Arbeit einem Freunde übertragen habe, von dessen Wesen und Schicksalen er kurz die Umrisse hinwarf. Mariens Eltern wußten mehr von ihm. Den Fremden aber schien das flüchtig gezeichnete Bild nicht anzusprechen.

“Es wäre zu wünschen”, sagte er, “daß dieser Mann einen Hauch von Edwards inniger Natur in sich selber spürte, daß er die zarte Gestalt unseres Teuern und sein kurzes gesegnetes Leben in sich aufnehmen könnte, wie etwas Geliebtes. Er scheint, wie Ihr ihn schildert, ein heftiger, starrer Mensch, dem nichts verschlossener sein muß als diese Art unseres Edward, nur für die Seinen zu leben, den letzten Atemzug zu einem Glückwunsch für seine Geliebten zu machen.”

“Er ist rau und energisch”, erwiderte Theodor, “aber das Schöne rührt ihn, und das Edelste nimmt er mit Scheu und Ehrfurcht auf. Ich sah es, als ich ihm aus Homer vorlas, wie ihn die idyllischen, ich möchte sagen die weiblichen Stellen des Gedichts ergriffen.”

“Vielleicht, weil sie seiner künstlerischen Stimmung fruchtbarer

begegneten, als die wüste Einförmigkeit von Kampf und Gefahr. Und dann ist es doch ein anderes, ein Gemüt zu haben, für gewisse gemeinsame, natürliche, heidnische Rührungen empfänglich, und eines, das den Segnungen unserer Religion geöffnet ist. Edward war Christ; Euer Freund ist höchstens ein äußerlicher Katholik.”

“Ich leugne nicht”, nahm die Mutter das Wort, “ich habe mir auch schon darüber Gedanken gemacht. Ehe man diesem Unbekannten ein Werk überträgt, das uns allen am Herzen liegt, würde es wenigstens wünschenswert sein, eine Skizze zu sehen, über die man reden und entscheiden könnte.”

“Ich kenne ihn, teure Mutter”, sagte Theodor mit Nachdruck. “Wäre es seine Art, den ersten Gedanken auf ein Blättchen zu werfen, so wäre es natürlich, über den Entwurf mit ihm zu verhandeln. Er liebt es aber, gleich in Ton und in einiger Größe zu entwerfen, und hat sich besonders ausgebeten, diesmal eine Zeitlang arbeiten zu dürfen, ohne sich mitzuteilen. Daß es auf Eure Entscheidung ankommt, weiß er.”

Darauf ward eine Stille, in der die etwas lebhaft gesprochenen Worte des jungen Mannes empfindlich nachtönten. Marie trat zum Flügel und begann die Verstimmung mit Musik zu besprechen. Nur bei Theodor gelang es nicht. Das einfache Lied vermochte nichts über ihn, in dessen Ohr der hastig rasende Ton des Tamburins spukhaft wieder erwachte und das wunderliche Lied des Sängers die gegenwärtige Stimme überbrauste. Er sah Bianchis sicheren Blick auf sich gerichtet und hörte wieder die Worte: “Ein Wunder will sich begeben.” Um ihn her war ihm alles fremd, nüchtern und wunderlos.

Nachdem sie gesungen, setzte sich Marie wieder zu ihm; sie sprach Deutsch mit ihm, sie fragte nach seinem Tage, nach seinen Arbeiten, nach Bianchi. Er sprach zerstreut, und so auch halb in Zerstreuung, als spräche er mit sich selbst, erzählte er von der Osterie und dem Tanze des Mädchens. Als er dann zufällig aufsah, bemerkte er eine dunkle Spannung über den feinen Brauen. Das Gespräch zwischen ihnen stockte. Der Vater fragte nach englischen Familien, über die die Gäste bereitwillig Rede standen. Sie waren Theodor fremd, und so war er von neuem seinen wühlenden Gedanken überantwortet. Er ging endlich. Die Fremden hatten eine Wohnung bei Mariens Eltern angenommen. So kam es ihm vor, als ob er auf einmal unselig aus diesem Kreise, der ihm sonst gehörte, verdrängt worden sei, zwiefach, durch sich und andere.

* * *

Nirgends sind unreine Stimmungen, halbe Verhältnisse und

unentschlossene Wünsche widerwärtiger und empörender als in Rom. Die großen Umgebungen, voller Zeugnisse reiner Menschenkraft und sicheren Wollens, sind nur ohne Leid und Schmerz zu ertragen, wenn man sich auch im engsten Bereich des eigenen Wirkens seiner Gesundheit und Lauterkeit freuen kann. Wem es dort nicht gelingt, die halben und schiefen Stimmungen mit Gewalt von sich zu stoßen, dem wachsen sie wie eine Krankheit unglaublich schnell über den Kopf und verschlingen seine ganze Ruhe. Denn an Beschönigen und Betrügen vor sich selbst soll er nicht denken, wo ihn jeden Augenblick die ganze Offenheit, das unbekümmerte Bekenntnis einer genialen Vorwelt niederschlägt und beschämt.

Und doch können wir nichts von uns ablösen, was ein Recht auf uns hat, ohne uns in neuen Streit mit uns selbst zu stürzen und mit unserem Gewissen zu zerfallen, da wir früher nur mit unseren Meinungen und Wünschen entzweit waren. Uns zu retten, bedarf es der Überzeugung. Und Theodor war nicht überzeugt; nur zweifelhaft und erschüttert. In lichternden Stunden wiederholte er sich die alte Weisheit, daß eines nicht für alle taue. Bianchis Art zu sein und zu leben, die ihm oft als die menschlichste, notwendigste und reinste erschien, kam ihm dann fast niedrig vor. Er schämte sich, daß er ihn hatte beneiden können. Ein zarter Glanz breitete sich wieder um die lieben Gestalten seiner nächsten Angehörigen. Er sprang dann auf und stürzte mit übergelbem Herzen zu ihnen. Fand er aber dort die er suchte, in der ruhigen, würdevollen Umgebung, die ihn verhinderte, sein Inneres auszuschütten, mußte er seine leidenschaftliche Hingebung zu einem gleichmütigen Gespräch über fremde Dinge herabstimmen, und er sah kaum die Gelegenheit, seine Geliebte beim Weggehen flüchtig an sich zu pressen: so geriet er in der Einsamkeit von neuem außer sich und brach in stürmische Anklagen der Lauheit, des Zwanges und der Unnatur aus. Dann konnte er stundenlang am Ufer des Tiber vor Bianchis Tür auf und ab gehn, hinüberstarren, wo sich Sankt Peter³⁷ mächtig über die breite Masse des Vatikans erhebt, den Fluß verfolgen, der unter Gebüsch weit in die Landschaft hinausläuft, und dann zu der Tür seines Freundes flüchten, ohne den Klopfer zu rühren. Trat er wirklich ein, so ließ freilich die ziellose Qual von ihm. Aber die gereizte Fröhlichkeit, die ihn dann ergriff, die Begeisterung, die aus ihm sprühte, wenn er in der Werkstatt auf und ab ging und von Dingen der Kunst redete, waren weit von Gesundheit entfernt.

Bianchi entging der seltsam gärende Zustand seines Freundes nicht. Aber er vermied es, den Grund aus ihm herauszulocken, wie er überhaupt Gesprächen über persönliche Verhältnisse und innere Erlebnisse auswich. Gerade dies unruhige Gebaren fesselte ihn täglich mehr an Theodor. Er selbst war seit der Krankheit zahmer und freudiger in allem Tun und

Reden. Wenn er Theodors Klopfen vernahm, deckte er ein Tuch über seinen großen Entwurf und öffnete hastig. Er war noch immer sparsam mit den geringsten Liebesbezeugungen. Aber sein Gesicht konnte nicht verleugnen, daß die Gegenwart seines Freundes ihm mehr als alles war. Er saß dann bei seinen Muscheln am offenen Fenster, das Gesicht kaum einmal zu Theodor gekehrt, und arbeitete rüstig, während sie sprachen oder ein Buch beide erquickte. Er hatte durch Theodors Vermittlung Käufer für seine Arbeiten gefunden, die ihm das Doppelte zahlten, was der Händler bisher gegeben; noch war seine neue Wohnung in nichts reicher ausgestattet als die frühere. Freilich vergoldete die Sonne die nackte Wand, an der das Rundbild der Meduse hing, und vor dem Fenster lag die entzückende Ferne.

Eines Abends, im heißen Mai, als es draußen am Tiberufer einsam war und die Mücken überm Gesträuch ungestört spielten, klang der Klopfen an Bianchis Tür rascher und lauter als sonst. Er stand von der Arbeit auf, vor der er sinnend gesessen hatte, und deckte nicht wie sonst das Tuch darüber. 'Er mag's heute sehen', sagte er für sich, 'wenn er's wirklich ist, der so unbändig lärmt.' – Damit ging er zu öffnen.

Der junge Mann trat ungestüm ein, sein Gesicht war lebhaft gerötet, seine Augen strahlten. "Bianchi", rief er, "Bianchi, ich komme von *ihr*, ich habe sie gesehen, gesprochen, das Wunder ist mir wieder bis ins Mark gedrungen. Und Ihr, Lieber, Böser, sagtet Ihr nicht damals, sie sei fort, ins Gebirge zurück, der Alten entflohen und wie das Märchen weiter lautete? Oder ward es Euch wirklich erzählt? Denn sie ist hier, keinen Fußbreit aus Rom hinausgekommen die zwei Monate lang. Redet, Bianchi; was sagt Ihr? Preiset mein Schicksal, das mich ihr an die Seite führte, wodurch ich *noch* wie von Sinnen bin!"

Er stürmte das Gemach hin und her, ohne umzublicken. Er sah nicht, daß Bianchi totenblaß in der Tür stehengeblieben war und seinen Irrgängen mit durchdringendem Blick folgte. "Caterina?" brach es endlich von seinen Lippen.

"Caterina!" rief Theodor; "sie selbst, sie selbst, schön und still und Himmel und Hölle in den Augen, wie an jenem ersten unvergeßlichen Abend, nur nicht jene bitterliche Schwermut um die Lippen, und in römischen Kleidern. Denkt, wie es kam. Ich sitze zu Haus in der Schwüle unlustig über den Büchern, und es treibt mich endlich hinaus. Einige Gassen weit, so gerat' ich in einen Schwall geputzter Menschen, die es eilig haben, frage einen: wohin? Auf Monte Pincio, heißt es, das Wettrennen und die Wagen zu sehen. Ich hatte keinen eigenen Weg und lasse mich treiben und gelange gedankenlos mit auf die Höhe. Ihr habt die Gerüste gesehen, die sie gestern noch zimmerten. Heut die weiten Schranken Kopf an Kopf gefüllt, daß ich Mühe hatte, einen Platz zu

finden, und unbequem genug, wie ich im ersten Moment dachte, denn die Sonne stand mir gegenüber, daß mir's, über die Bahn blickend, vor den Augen flimmerte. Wie ich nun bedenke, ob ich gehen oder wie mich schützen soll, und stehe noch an meinem Platz, seh' ich nach unten und entdecke einen seidenen Sonnenschirm und ein bezauberndes Stück Hinterhaupt und Nacken darunter. Im Nu saß ich, und unter den Schirm mich bückend, frag' ich meine Nachbarin, die sich abgewendet hatte, ob ich die Wohltat ihres Schattens mitgenießen dürfe. Sie wendet sich, und es war, als zuckte mir der Blitz mitten durchs Herz, da ich sie erkannte. Sie schien mich auch wiederzuerkennen und blieb mir die Antwort schuldig. Indes kam nun auch die Alte neben mir zum Vorschein, war gesprächig und höflich und befahl Caterinen, den Schatten mit mir zu teilen. Bianchi, wie sie das tat, den Schirm in der kleinen Hand regierend, halb verlegen, halb zutraulich und dann auf meine zudringlichen Fragen bescheiden und klar antwortete mit jener süßen dunkeln Stimme – es ist über alle Worte! Ich saß hingerissen, blind für alles umher, unter dem kleinen Dach wie mit ihr allein, und baute es zu einem Haus für uns um, in dem ich die Stunden, Tage und Jahre an mir vorbeirinnen fühlte, so gleichgültig, als gehörte ich schon der Ewigkeit an. Wie hätt' ich Augen für die Spiele gehabt! Aber ich folgte dem Eindruck, den die wilde Jagd auf Caterinen machte, wie ihr die Freude hoch aufschlug, wenn eine kühne Wendung geschah oder ein Wagen den anderen weit voraussausend um die Ecke bog, wie sie frohlockte, wenn eins der schönen Tiere, rauchend und schäumend vom Siege, im Triumph nahe vorübergeführt wurde. Heilige Natur! rief ich in mir aus, wie lachst du unverfälscht und unverbildet aus diesen Augen! Wie muß der mit Leib und Seele dir wieder zugewendet werden, den diese Augen anlachen! Laßt mich verschweigen, was ich weiter in mir raste und jubelte. Es nahm ein Ende. Das Volk verließ die Schranken, meine Nachbarinnen standen auf. Als ich mich erbot, sie durch den Strudel der Menschen nach Hause zu führen, lehnte es die Junge ruhig, aber bestimmt ab. Die Alte machte mir hinter ihrem Rücken mit Augenwinken und Grinsen Zeichen, die ich nicht völlig verstand. Ich aber hielt mich in einiger Ferne hinter ihnen und ging die Höhe hinunter ihnen nach in die Stadt. Es schien mir, als verdoppelte Caterina ihre Schritte, nachdem die Alte sich einmal nach mir umgewendet. Endlich in Via Margutta³⁸ traten sie in ein Haus. Ich wagte nicht zu klopfen, stand dort eine halbe Stunde wie angewurzelt und sah die Vorhänge wehen, aber keine Gestalt. Nur die widerliche Fratze der Alten erschien einmal am Fenster. Sie sah mich nicht, da ich mich im Schatten der Häuser barg, und so riß ich mich endlich hinweg und hier bin ich, wenn es hier sein heißt, daß mir der Boden unter den Sohlen brennt und mein Sinn wie verriegelt ist, eines anderen Menschen Gegenwart wirklich zu empfinden.”

Er warf sich auf einen Stuhl; er beachtete es nicht, daß Bianchi noch immer in der Tür stand, nicht, daß er keinen Laut von sich gab. Er sah vor sich hin. "Heute zuerst", fing er wieder an, "nach schweren Wochen des Druckes und Kleinmutes einen vollen Zug Leben gesogen, eine Stunde genossen, die mich über mich selbst hinaushebt! Wer so immer hinschwimmen könnte mit vollen Segeln ins offene Meer hinaus! Aber an den Küsten hinkriechen im geflickten Boot, sich winden und krümmen, wie dem Ufer die Laune steht, um doch endlich an einem Kiesel zu scheitern – erbärmliche Feigheit!"

Mit diesen Worten schlug er die Augen auf und begegnete dem Relief ihm gegenüber. Der Abend schien rot durchs Fenster, und die scharf umrissenen Figuren wurden deutlich genug. Man sah einen Jüngling am Ufer des Flusses, an dem der Vorderteil eines Nachens und die wilde Gestalt des greisen Fährmanns harnten. Den Fuß hatte der Scheidende schon auf den Bord gesetzt. Aber das Haupt und der grüßende Arm waren noch der anderen Seite gewendet, wo eine blühende weibliche Gestalt, durch ein Füllhorn bezeichnet, unter einem fruchtbaren Baume saß, in edler Gebärde des Schmerzes, das Haupt niedergesenkt. Ein Genius der Liebe lehnt an ihrer Seite, die Fackel umgekehrt, daß er ihr Leben erstickte, mit den Augen an dem Jüngling hangend, ob es möglich sei, ihn zurückzuhalten. Aber zwischen ihnen stand ernst und abwehrend das Schreckbild der Parze.³⁹

Theodor starrte wortlos noch immer den Kopf des Jünglings an, dessen Züge ihn unbezwinglich demütigten. Er hatte Bianchi ein Bildnis Edwards verschafft, von Mariens Hand wenige Tage vor dem Tode gezeichnet. Es zeigte die edlen Züge schon in aller Feinheit der nahen Verklärung, und besonders die Augen waren rührend frei und groß. Zugleich, da alles Zufällige abgestreift war, sah man die Ähnlichkeit der Geschwister schlagend und fast beunruhigend für die Überlebende. Zum ersten Male empfand dies Theodor. Er sah Marien in Stunden des Schmerzes oder einer hohen Bewegung, wo ihre Augen dunkler aus dem zarten Gesicht herausleuchteten und der ernsthafte Mund sich leise öffnete, wie hier der aufseufzende ihres Bruders. Es litt ihn nicht länger auf dem Sitz. Er trat dicht vor das Bildwerk; er kämpfte nicht mehr in sich, mit einem Schlage glaubte er alles entschieden, alle Gefahr angesichts dieser Hoheit und Anmut bezwungen für jetzt und immer. Er blieb so, bis das Abendrot erlosch und das Gesicht sich in den raschen Dämmerungen ihm entzog. Dann ging er, ohne ein Wort zu sagen, nach der Tür, in der Bianchi noch immer stand; er haschte nach der Hand des Freundes; drückte sie, ohne zu empfinden, wie welk und kalt sie war, und ging hinaus.

Bianchi zuckte zusammen, als die Tür ins Schloß fiel. Er sah

verstört mit abwesenden Gedanken umher. So verharrte er an die Wand gelehnt, unfähig sich zu regen; denn entschlossen war er längst. Aber die Glieder waren dem Willen widerspenstig. Die Nacht kam; er konnte sich endlich aufrichten und stand, das Zittern niederkämpfend, das ihn überfiel, die geballten Fäuste gegen die Augen gedrückt. Darauf stieß er einen einzigen, dumpfen Schrei heraus, und es war, als sei er nun wieder Herr über sich. Er ging mit ruhigen Schritten aus dem Haus; keinem der vielen Spaziergänger, welche die Nachtkühle genossen, fiel er auf; so gleichgültig sah er umher. Er betrat endlich die Via Margutta und klopfte, ohne zu zaudern, an einem kleinen Hause. Die Tür gab nach, und er trat in den Flur. Er sah die Steintreppe hinauf, über die ein Lichtstreif hinunterglitt. Oben mit der Lampe stand Caterina.

Der Mann weidete sich einen Augenblick an der vollkommenen Bildung des jungen Weibes, das am Geländer lehnte, die Lampe weit vor sich hingestreckt, mit der lieblichsten Gebärde der Freude bemüht, unten im Schatten das bekannte Gesicht zu erkennen. Sie nickte und lächelte und grüßte hinunter. "Komm, komm!" rief sie, als er unten verzog. Er stieg langsam die Stufen hinan. Als aber die Lampe sein Gesicht beschien, starb ihr Lächeln und Freude von den Lippen weg. "Carlo, um Gottes willen, du bist krank!" rief sie ihm entgegen. Er drängte sie sanft zurück und schüttelte den erhobenen Zeigefinger abwehrend hin und her. "Laß!" sagte er. "Komm hinein, Caterina, komm!"

Sie folgte ihm in atemloser Angst. Das Zimmerchen war niedrig, aber sauber und wohlausgestattet. Blumen standen an den Fenstern, ein Vogel hing im Bauer davor und schmetterte gerade jetzt, als der Lampenschein ihn beunruhigte; auf dem Tisch lag eine blanke Gitarre. Die Alte hatte mit einer Arbeit daneben gesessen. Sie stand nun auf, den Eintretenden begrüßend, unterwürfig und dreist. "Guten Abend, Sor Carlo!" rief sie. "Wie geht's? Ihr kommt zur rechten Zeit. Das arme törichte Ding da, kein Liedchen wollt' ihm glücken, keine Saite stimmte; der Schelm, der Vogel, den sie doch auch von Euch hat, sang ihr zu laut; 'Tochter', sagt' ich, 'er kommt ja, den du lieber hast als deine Augen, Närrchen, das du bist!' – 'Nenna, sagte sie, mir bangt so; und', sagte sie, 'das Herz schlägt mir so, ich weiß nicht wovon.' 'Still! still!' sagt' ich, 'du bist ein Kind. Einen Herrn zu haben, der dich auf Händen trägt, sagt' ich, der dich hegt und pflegt wie sein eigen Herz –' "

"Und der dich in die Hölle schicken wird, verruchte Hexe!" schrie Bianchi und trat hart an sie heran. "Du Gift! du Niedertracht! dank' es deinen grauen Haaren, daß ich dich meine Fäuste nicht empfinden lasse." – Er schüttelte sie heftig bei der Schulter, die Ader an der Stirn lief ihm glühend an. Die Alte fuhr zusammen und blinzte ihn an. "Macht nicht so schlechte Späße mit einer alten Frau", sagte sie stotternd. "Ihr habt mich

erschreckt, daß ich die Gicht davon haben werde. Was? Redet sänftlich, Sor Carlo, und führt nicht so unchristliche Worte im Mund, daß man sich kreuzen und segnen möchte! Was habt Ihr mit der armen Nenna?"

"Was ich habe?" schäumte Bianchi und stieß sie von sich, daß sie in die Knie sank. "Sie kann fragen, die Nichtswürdige? Mir ins Gesicht die heilige Unschuld spielen, nachdem sie mich betrogen? Hab' ich dir nicht bei deinem Leben gedroht, zu tun, was ich sage, und nicht, was dir der Teufel einbläst? Und nun kitzelt sie Habsucht und Kuppelgelüst, daß sie mir das Mädchen verderben will, und muß mit ihr unter die Leute, sie zu zeigen und auszubieten, ob sie nicht einem gefiele, der reicher ist als Bianchi, der Bildhauer, der von seinem Schweiß lebt und Euch zu leben gibt? Fort! aus dem Haus, und das ohne Zögern und Winseln! Denn ich kenne dich, und ich hätt' es wissen sollen, daß du kein Schutz bist und der Verrat in deiner vertrockneten Brust nistet mit allen Ränken der Hölle!"

Die Alte hatte sich erhoben und stand lauernd mit erkünstelter Demut einige Schritte von ihm beim Fenster. "Ihr habt recht, Sor Carlo", sagte sie, "ich hätt' es nicht tun sollen. Aber mich jammerte der armen einsamen Kreatur, wie sie von der Welt Sonn- und Werkeltage nichts zu sehn kriegt als die Dächer gegenüber, oder um Mitternacht, wenn Ihr einmal mit ihr ausgeht, dunkle Gassen und das bißchen Sternenhimmel. 'Kind', sagt' ich, 'er ist so gut, er kann nicht böse werden, wenn du ihm heut abend erzählst, daß du das Rennen mitangesehen hast.' Sie wollte nicht, armes Ding; aber ich sah ihr's an, daß sie's gern hätte, und so redete ich ihr zu. Was ist's nun weiter? Wenn Ihr nicht den Lärm darum machtet, so hätte sie auch einmal ein Vergnügen gehabt. Und steht sie nicht da, wie sie war, kein Härchen anders? Denn was Ihr da sagt, Sor Carlo, solltet Ihr Euch schämen zu sagen, einer armen, ehrlichen Alten ins Gesicht, die keinen Gedanken hat, als Euch gefällig zu sein und Caterina."

"Du gehst", sagte Bianchi mit unerbittlicher Ruhe, "und weiter kein Wort mit dir!"

Die Alte sah ihn scharf an, während er am Tische stand, auf die Platte niedersah und die Faust dagegenstemmte, als dächte er an anderes. Sie schlich zu dem Mädchen, das auf einem Schemel in der Ecke saß mit gesenkten Augen. "Tochter", flüsterte sie, "bitte du ihn!"

Caterina warf einen Blick auf Bianchis Gesicht und schüttelte dann den Kopf. "Es hilft nichts", sagte sie.

"Laßt mich wenigstens diese Nacht hier", bat die Alte und trat dem Manne einen Schritt näher. "Wo soll ich mein Haupt niederlegen? Wie mein bißchen Habe zusammenraffen? Um der allerheiligsten Jungfrau willen, Sor Carlo, stoßt mich nicht aus wie –"

"Du gehst", wiederholte der Mann. "Habe? Du hast keine, als von mir. Du gehst, oder –"

Er hob seine Faust. Das Weib schrak zusammen. Flüche, Bitten, Drohungen wüßte durcheinander murmelnd, verließ sie lachend das Gemach.

“Caterina”, sagte der Mann langsam, ohne aufzublicken, “es ist aus. Du siehst mich von heute an nicht wieder. Frage mich nicht, warum, und mach dir keine Sorgen, daß du mich erzürnt hättest. Ich hab’ es nur mit jener Teufelin, die eben davongegangen. Du bist gut, und es soll dir wohl gehen, auch wenn du mich nicht siehst. Ein anderer wird kommen und an dein Haus klopfen, derselbe, der heut beim Schauspiel neben dir gesessen hat. Öffne ihm und begegne ihm, als wenn ich’s wäre, und habe ihn lieb – und – sei ihm treu. Du darfst ihm nicht sagen, daß du mich kennst; du darfst ihm meinen Namen nicht nennen. Aber halt dich nach wie vor zu Haus, und solltest du ja ausgehen, so vermeide den Teil der Stadt unten nach dem Tiber zu. Versprich mir das alles, Caterina!”

Er harrete der Antwort. Statt ihrer brach ein Schluchzen aus der Ecke vor, das ihm in die Seele schnitt. “Weine nicht”, sagte er so ruhig er konnte; “du hörst, es ist nicht im Zorn, daß ich von dir gehe, und du wirst glücklich sein, du wirst es besser haben als bisher, du wirst den anderen lieber haben als mich.”

“Niel!” stöhnte es von den Lippen der Armen. Das Weinen faßte sie gewaltsam. Aber der eine Ton sprach ein langes, heftiges Bekenntnis grenzenloser Neigung aus. Bianchis düstere Miene lichtete sich jäh; er sah freudig auf, er wandte sich und trat ihr näher. Außer sich stürzte sie auf ihn zu, und er empfing sie, die wie bewußtlos ihn an sich riß, in seinen Armen. Er küßte sie auf die Stirn. “Still!” sagte er, “du und ich, wir müssen uns fassen. Es ist nun so gut, und besser. Wer weiß, ob ich das andere überstanden hätte. Aber es darf dennoch nicht so bleiben, es darf nicht, oder ich gehe daran zugrunde. Komm”, sagte er, “mach ein Bündel von deinen besten und liebsten Sachen und was du brauchst zur Reise. Eil dich, Caterina. Ich denke, wir werden uns wiedersehen, aber hier nicht. Habe Geduld!”

Sie sah ihn groß an, sie begriff nichts, ihr ahnte nichts. Mechanisch tat sie, was er befohlen hatte. “Wohin gehn wir?” fragte sie schüchtern, als alles bereit war. “Komm!” sagte er. Er löschte das Licht. Der Vogel draußen im Bauer flatterte heftig gegen die Drähte, die Gitarre gab einen klingenden Ton, als er im Dunkeln daran stieß; den beiden Menschen pochte das Herz laut. So gingen sie.

* * *

In der seltsamsten Verfassung hatte Theodor Bianchis Haus verlassen. Sobald er die stille Luft um sich fühlte, wich der letzte schwere

Hauch von ihm, der ihn nach vor dem Bilde gedrückt hatte. Nur eine Mattigkeit, schmerzlos wie sie ein Genesender empfindet, nachdem das Fieber ausgetobt hat, breitete sich über sein Gemüt. Auch die heimliche Reue im Hintergrund seiner Gedanken trug fast dazu bei, seine innerliche Helle zu erhöhen wie der Schatten das Licht. Er sagte sich, daß noch nichts verscherzt sei, daß alles, was er in Verblendung von sich gestoßen, ihm noch unverändert zugehöre, daß er nur die Hand auszustrecken habe, um sich seines Besitzes zu freuen. Habe er sich die Zeit her mit widersinnigen Wünschen gepeinigt und sich die Freude am Besten verkümmert, um einem reizenden Schein nachzuhängen, so sei er an sich selber gestraft.

Die Gestalten beider Mädchen gingen ihm vorüber, und sein Herz ward keinen Augenblick irre; noch ward es ungerecht gegen die Fremde. Ein Staunen beschlich es noch immer, indem es sich aller Züge des wunderbaren Gesichts erinnerte. Aber es hüpfte hoch auf, wie die Zeit des ersten Sehens und Findens, der wachsenden Neigung zu Marien ihm wieder lebendig wurde. Und was war inzwischen anders geworden? War sie nicht dieselbe geblieben? Freilich auch dieselbe an Scheu und Gefühl der Sitte, sich zurückzuhalten vor den Augen anderer. Aber sie sagte ihm mit der ganzen gesteigerten Wärme ihres Wesens, mit den Augen, die nicht von ihm ließen, wenn er da war, mit den Händen, die ihn nicht lassen wollten, wenn er ging, daß sie ihm völlig und ohne Vorbehalt hingegeben war. "Kann ich ihr vorwerfen", sagte er, "daß sie noch im Bann der puritanischen Mutter ist? daß sie nicht das Band dieser Ehrfurcht zerriß, sobald sie sich an mich knüpfte? Und ich konnte wollen, daß sie wie eine zügellose Minente aus Trastevere,⁴⁰ die niemanden zu fragen hat als ihre Leidenschaft, mir an den Hals stürze!"

Als habe er ihr alles abzubitten, womit er sich seit Wochen das Leben zerstört hatte, treibt es ihn jetzt nach ihrem Hause. Er weiß, daß der Besuch aus England, der ihn verdrossen, gestern Rom verlassen hat. Es ist ihm, wie wenn nun alles von neuem beginnen solle. In dieser aufwachenden, glückseligen Stimmung springt er die Treppen hinauf.

Wenige Augenblicke vorher war in Mariens Zimmer Miß Betsy aufgestanden, um zu gehen. Das Mädchen blieb am Klavier sitzen, im Dunkeln mit den Händen sich an die Arme des Sessels anklammernd, als müsse sie zu Boden gleiten, wenn sie sich nicht halte.

"Folgt meinem Rat, Kind", schloß die kleine Dame ein langes Gespräch, das sie fast allein geführt hatte. "Gleich wenn er wiederkommt und ohne Umschweife stellt ihn zur Rede, daß er nicht Zeit gewinnt, auf Ausflüchte zu sinnen. Mary, tut das, sag' ich Euch; er ist noch in den Jahren sich zu bessern, wenn man's recht anfängt. Schändlich ist es und bleibt es, und – süßes Herz – so gern ich wollte, ich kann nichts von allem

zurücknehmen, was ich im ersten Zorn gegen ihn gesagt habe. Indessen, unser Herrgott hat schon andere Sünder erleuchtet. Wenn er nur mehr Religion hätte! Ihr müßt mir zugeben, daß ich ihm das schon oft vorgeworfen habe, und nun seh' ich, wie sehr ich recht hatte. Schande über ihn, daß er Euch so wenig ehrt, Kind, Schande fürwahr! Ich sah mich um; zu Glück saßen in unserer Nähe keine Bekannte von Euch, denn die meisten von der guten Gesellschaft, wenn sie nicht das Volk studieren wollen, gehen nicht auf diesen Platz, sondern in die getrennten Logen. Aber mir hat er das ganze Schauspiel verdorben, das vergess' ich ihm nicht. Dear me, wenn Ihr mit mir gewesen wäret, Ihr wäret gestorben auf der Stelle. Meint Ihr, daß er ein Auge von ihr gelassen? Und sie schienen sich zu kennen, eine alte Passion; und das wäre noch zu seiner Entschuldigung. Denn er wird genug Mädchen schön gefunden haben, ehe er Euch kennenlernte. Aber man achtet doch auf sich, zumal öffentlich, und tut, als kenne man sich nicht wieder. Nun, nun, Kind, wenn Ihr mit ihm redet, ernsthaft und ein für allemal, so wird er in sich gehn. Aber wenn *Ihres* nicht tut – so gern ich es Euch ersparte – meine Grundsätze verlangen dann, daß ich es Euern Eltern anheimstelle, ihm ins Gewissen zu reden. Eine solche Familie! der Schimpf wäre zu groß und das Unglück, wenn sie einen leichtsinnigen Menschen in ihren Kreis aufnähme. Habt Ihr denn nie etwas von einer alten römischen Liebschaft gehört, die er Euretwegen abgeschafft hätte?”

“Nein”, sagte das Mädchen leise. Wie hätte sie's über die Lippen bringen können, daß ihr die Beschreibung der dienstbeflissenen Zuträgerin ein Bild wieder lebendig machte, das ihr früher schon einmal einen nachdenklichen Tag gekostet hatte! Am Tage darauf, nachdem Theodor ihr von dem Tanz in der Schenke erzählt hatte, war sie an seinem Arm durch die Stadt gegangen. Aus einem niedrigen Fenster sah ein schönes Gesicht, auf das sie ihren Freund aufmerksam machte. Er hatte eine starke Bewegung nicht unterdrücken können, und auch das Mädchen ihn zu erkennen geschienen. “Es ist die Albanerin von gestern abend”, hatte er gesagt und dann rasch von anderen Dingen gesprochen. Ihr aber war das Gesicht Zug für Zug im Gedächtnis geblieben.

“Laßt es jetzt gut sein”, redete ihr Miß Betsy zu und strich ihr mit der Hand über die Locken. “Grämt Euch nicht, Liebe! Die Menschen, und zumal die Männer, sind keine Engel. Mein Gott, wer erlebte dergleichen nicht! Und sprecht mit ihm, so wird noch alles in Ordnung kommen. Gute Nacht, Kind! Ich komme morgen und sehe nach Euch. Der Herr sei mit Euch!”

Sie ging rasch. Draußen begegnete sie Theodor, der sie fast überrannte. “Verzeihung!” sagte er, “ein Bräutigam, der zu seiner Braut geht, darf es ja wohl eilig haben. Nicht wahr, liebe Miß Betsy?” – Er

bemerkte die kalte Miene nicht, mit der ihm entgegnet wurde: "Ihr werdet Mary finden; in der Tat, sie erwartet Euch nicht." Er verabschiedete sich schnell und stürzte in das Zimmer.

Zum ersten Male fand er sie allein, in der fast nächtlichen Dämmerung am Fenster stehend, die Locken ganz um das Haupt aufgelöst. Er dankte im stillen inbrünstig dem guten Glück, das so willig schien, alles auszugleichen. Leise tritt er heran; sie bewegte sich nicht. Er schlingt den Arm um ihren Leib und ruft ihren Namen. Sie fährt zusammen und wendet sich um, und er sieht es feucht in ihren Augen schwimmen. "Du weinst, Marie, liebes, teuerstes Leben, du weinst?" ruft er und will sie fester an sich ziehen. Sie wehrt ihm, ohne zu antworten; sie drückt die Augen zu und zerdrückt die Tropfen und schüttelt den Kopf. "Nein", sagt sie endlich, "ich weine nicht, laß! Es ist vorbei, es ist gut!"

Er geht drei Schritte auf und ab; er weiß nicht, wie ihm geschehen, aber mit einem Schlag ist all seine Freudigkeit gelähmt. "Was hast du", fragt er nach einer Pause, "das ich nicht wissen darf? Wenn du wüßtest, mit welchen Freuden ich über diese Schwelle trat, wie mich's selig durchfuhr, dich endlich einmal allein zu finden! und ich finde dich nun so fremd, verschloßner als in aller Bedrängnis fremder Gesellschaft – du weißt nicht, was du uns zuleide tust!"

Sie schwieg noch immer und hatte die Augen zugeedrückt. Sie hielt in Gedanken die Worte, die er sprach, mit denen zusammen, die ihr soeben das Herz zusammengeschürt hatten, seine Blicke mit denen, die ihr die alte Freundin geschildert hatte und die einer anderen galten. Es war etwas in ihr, das gern für ihn gesprochen hätte; aber zu viele Stimmen schrien dagegen. Nicht, daß sie ihn für unwahr hielt, für unwürdig, und ihn anklagte in ihrem Herzen. Sie hatte die Erzählung der Alten mitangehört, als gelte sie weder ihr noch ihm, wie ein Unerhörtes, für das wir kein Organ in uns haben. Aber dennoch warf es ein letztes Gewicht auf die Last, die sie schon wochenlang getragen hatte. Theodor betrog sich, wenn er glaubte, durch seine gespannte, unglückliche Stimmung nur sich selbst wehe getan zu haben. Daß er verändert war, der erste Glanz der Liebe verblichen, das Herz seiner selbst nicht mehr gewiß, war Marien nicht entgangen. Wenn er zugegen war, bezwang sie sich um seinetwillen; sie hätte ihm um die Welt nicht gestanden, daß sie an ihm zweifelte; und war sie allein, so schalt sie sich selbst und sagte sich, daß sie falsch gesehn und zuviel gesehn habe, daß ein Mann sich mit Gedanken trage, die ihn zerstreuen und selbst bis zu seiner Geliebten verfolgen. Auch wußte sie, daß ihm der Zwang vor der Mutter immer unerträglicher wurde. Und doch brach auf Augenblicke das Gefühl des bittersten Kummers durch und verschloß ihr gerade jetzt den Mund und das Herz, wo Worte so nötig gewesen wären. Sie hoffte auch nichts von Fragen, und Vorwürfen wollte

sie nichts zu danken haben. Sie war ohne heftigen Schmerz, wie abgestorben, daß sie seine Nähe nicht fühlte und doch einen tödlichen Stoß empfangen hätte, wenn er gegangen wäre.

So stehen sie in unseliger Täuschung einander gegenüber. Er greift schon nach dem Hut, um dem unerträglichen Zustand ein Ende zu machen, als die Mutter hereintritt. Er muß bleiben; Lichter werden gebracht, die Frauen setzen sich, während er einsilbig steht, sich selbst und sein elendes Geschick tausendmal verwünschend. Und wie sich in solchen Stunden alles Widerwärtige häuft, kommt die Mutter von neuem auf Edwards Monument zu sprechen. Er kann nicht verschweigen, daß es ihm heut zum ersten Male aufgedeckt worden, und muß Gegenstand und Art der Darstellung beschreiben. Er belebte sich wieder ein wenig. "Es ist unvergleichlich", sagte er; "ich kann nicht ausdrücken, wie ich das Bild ergriff, Edward ganz und gar, lebend und verklärt zugleich, und wunderbar! fast durch Offenbarung die Art wiedergegeben, wie er sich bewegte, jene eigentümliche innige Gewohnheit den Kopf vorzuneigen, von der ich meinem Freunde nie gesprochen."

"Es mag alles unbestritten sein, was Sie sagen, lieber Theodor", sagte die Mutter nach einigem Besinnen. "Und doch verberge ich nicht, daß mir die Nebenfiguren, wie Sie sie beschreiben, durchaus widerstreben, daß ich mich nicht werde entschließen können, an dem Grabe meines Sohnes zu beten, wenn der Stein diese fremden, fabelhaften Gestalten zeigt, die mich schrecken, statt mich zu erheben."

"Es sind Zeichen, Mutter, Zeichen für den liebevollsten Sinn, die Ihnen nicht fremd sind, sobald Ihnen der Sinn nah getreten. Und würden Sie nicht ergriffen werden, wenn ein italienischer Poet Strophen auf Edward in seiner Sprache gedichtet hätte, obwohl sie nicht Ihre Muttersprache ist?"

"Wohl, aber dann wär' es wirklich nur die Form, die mich fremd berührte. Hier ist der Sinn von Vorstellungen, die meinem Heiligsten widerstreiten, so getränkt, daß ich mich abwende und nichts damit gemein haben kann."

"Sie sprechen es hart aus."

"Es wundert mich, daß Sie hart finden, lieber Theodor, was das natürliche Gefühl eines Weibes und einer Christin ist."

"Und Sie sind in Rom und sehen täglich die Wunder vergangener Geschlechter und haben Freude am Tun der tausend verschiedenen Geister, die auch von Ihnen verschieden sind, und wollen sich hier verschließen und abwenden; hier, wo ein edler Mensch Ihnen zuliebe aus seinem Tiefsten hergegeben, was er nur hatte?"

"Ich fechte seinen Willen nicht an. Aber gerade weil es mich zunächst mitbetrifft, mir zuliebe geschehen soll, bin ich empfindlicher

gegen das, was geboten wird. Denn der beste Willen kann uns beleidigen, wenn er keine Rücksicht auf uns nimmt."

Theodor trat auf Marien zu, die auf einen Stickrahmen gebeugt still dagesessen. "Marie", sagte er, "hat dich Bianchis Werk auch beleidigt?"

"Nein", sagte sie leise, "aber ich gebe der Mutter recht. Man kann nichts lieben, was fremd ist; ich nicht; ein Mann vielleicht."

Er verstand nur halb ihre Worte; aber er verstand, daß sie sich von ihm gewendet. Ein unsägliches Wehgefühl ergriff ihn. Es war nicht Trotz, nicht kleine Verbitterung, daß er sich stumm verneigte und ging. Er fühlte, daß er sich sammeln, seine betäubten Geister aufrichten müsse. Er hätte irre geredet, wenn er geblieben wäre.

"Es sollte nicht sein", sagte er vor sich hin, als er auf der Gasse war. "Sie hat recht; wir wären uns immer fremd geblieben. Ich hielt meine fruchtlosen Mühen, mich immer wieder von neuem ihr aufzudrängen, für Zug und Bestimmung. Kein Wunder, daß es gerade heute so kommen mußte, da ich eben mich so schön getäuscht, so selig belogen hatte und hoffnungsvoller war als je. Es war grausam und heilsam! Ich bin nun für immer von diesem gutmütigen, vermessenen Selbstbetrug geheilt."

Dann dacht' er an Bianchi. "Schade!" sagte er. "Dem hätt' ich's sparen sollen. Er wird wieder was in den Tiber zu werfen haben. Nein, er soll nicht; ich will diese Tafel besitzen, mich in Zukunft zu warnen, wenn ich Menschen vertraue."

So kam er in seine Wohnung. Er zündete Licht an und setzte sich zu schreiben. Er fing einen Brief an Marien an, ruhig und sanft; nach den ersten Zeilen ward er der Lüge inne, denn es kochte und zürnte und sehnte in ihm, daß er die Feder am Tisch zerstiess und aufsprang. Er wußte nicht, wohin. Endlich ging er wieder ins Freie, den Weg nach Bianchis Hause. Wollte er ihn aufsuchen, ihm alles sagen, ihm alles verschweigen, nur wieder in seiner Nähe nach Entschluß und Fassung ringen? Er wußte es nicht klar; aber er etrug sich nicht in der Einsamkeit.

Nur eine schmale Mondsichel stand über den Dächern. Aber die Häuser waren hell, die Balkone und Fenster belebt; auf dem Korso wallte ein munteres Gewoge von sorglosen Menschen, die sich nach dem Tagesbrande erfrischten, lachende Mädchengesichter, fremde und römische, so leicht gekleidet, wie sie sich aus den Zimmern fortgeschlichen hatten. Die Straße glich einem langen Korridor neben einem Festsaal, wo sich die Gesellschaft zwischen den Tänzen in kühlerem Zwiellicht ergeht. Hie und da drang auch Musik aus einem Hause vor, und eine Nachtigall schlug im Käfig.

Theodor mußte den Strom kreuzen. Er kam sich vor wie ein Abgeschiedener, der nichts mehr vom Leben, den es nur noch zu einem Freunde treibt, um eine unvollzogene Pflicht ihm zu offenbaren, ehe er für

immer ruht. Er vertiefte sich in öde, schmale Gassen, die nach dem Tiber führten, und ging so hin ohne die Kraft, irgendeinen Gedanken festzuhalten. Endlich, von der vergeblichen Anstrengung ermattet, ließ er seinen Geist auf der leeren Weite des Schmerzes treiben, wie auf dem grenzenlosen Meer in der Windstille.

So kam er an den Teil des Ufers hinaus, der Ripa grande heißt, wo die Kähne liegen, die nach Ostia fahren, die kleinen Postdampfboote und andere Fahrzeuge mehr. Von da hinunter bis zur Ripetta sind noch einige hundert Schritt und keine unmittelbare Verbindung am Wasser hin. Er wandte sich eben rechts die breitere Straße hinauf, als ihm ein lautes Gezänk von den obersten Stufen der Wassertreppe ans Ohr schlug. Ein Ton klang dazwischen, der ihn plötzlich im Gehen hemmte. Er näherte sich dem Menschenhaufen, dessen einzelne Gestalten sich ihm nur langsam bei einer schlechten Straßenlaterne entwirrten. Es handelte sich um ein Mädchen, wie es schien, das ein Schiffer beim Arm hielt und hinabzuziehen bemüht war. Ein anderer suchte beide zu trennen. "Laßt sie los, Pietro!" rief er. "Laßt sie gehen! Seit wann ladet Ihr Weiber, Ihr Seelenverkäufer, der Ihr seid? Seht, sie weint, armes Ding! sie will nicht in Euer Loch von Kajüte zurück; sie wird ihre Gründe haben!"

"Hol's der Henker!" schrie der andere und riß an dem Mädchen herum, "Gründe genug wird sie haben. Aber der sie mir brachte und das Geld dran wandte und sagte: 'Schaff sie mir nach Ostia und gib sie dort in sichere Hände, daß sie nicht wieder zurück kann', der wird auch seine Gründe haben, und Gründe, die er mit Quattrinen⁴¹ beweist. Die Dirne! Sie wird nicht gut getan haben. Wäre sie die liebe Unschuld, die sie jetzt spielen will, warum konnte sie nicht darauf pochen, wie der Mann sie mir brachte? Aber was denkt Ihr? Da war sie stille, stille; nur geweint und geschluchzt und den Mann geküßt, daß dem Angst und Weh wurde und er versprach, er wolle in Ostia nach ihr sehn. Und jetzt? Warum kommt ihr die Tücke, daß sie davonlaufen will, die Katze, sobald ich den Rücken wende, und hier die halbe Straße gegen mich zusammenschreit, wie ich meiner Schuldigkeit nachkommen und sie wieder in Sicherheit bringen will? Sag mir das einer, wenn er kann! Nein! zurück mit der Hexe, und Maul gehalten, und Accidenti über jeden, der mir in den Weg tritt!"

"Ich *kann* nicht, ich *will* nicht zurück", hörte man die Stimme des Mädchens. "Dieser Mann ist falsch. Er mutete mir das Ärgste zu, er bricht seinen Vertrag; rettet mich!"

"Wer will ihr glauben, der verruchten Lügnerin; dem Abschaum, der nur sinnt sich loszumachen und mich zu verschwärzen? Zurück die Hand, sag' ich, und hinunter mit der Metze!"

"Halt!" donnerte eine Stimme überlaut dazwischen. Die Streitenden wandten sich stutzend um und sahen Theodor durch den Haufen brechen

und die Hand auf des Mädchens Arm legen. "Sie ist *mein*", rief er, "und geht mit mir!"

Eine Stille trat ein; Caterina hatte aufgeblickt und den jungen Mann erkannt. Unschlüssig zwischen Freude und heftigen Zweifeln stand sie und senkte die Augen.

"Haltet Ihr uns für Kinder, Herr", fuhr ihn der Schiffer an, "daß wir uns vom ersten besten Laffen einschüchtern lassen? Wenn Ihr ein Mädchen braucht – Ihr findet ihrer am Corso für Geld und gute Worte. Umsonst und mit bösen ist keine zu haben. Wer zum Teufel heißt Euch hier dreinreden und mit einer Manier, als hättet Ihr das beste Recht von der Welt?"

"Ich hab' es", sagte Theodor laut und entschlossen; "denn sie ist meine Frau."

"Seine Frau!" lief es durch den Haufen. Die zunächst Stehenden wichen einen Schritt zurück.

"Eure Frau! das habt Ihr zu beweisen, oder es könnte – halt!" unterbrach sich der Schiffer. "Nennt ihren Namen, Herr, ihren Namen; den pflegt doch ein Ehemann von seiner Frau zu wissen, wenn er auch nicht weiß, was sie in später Nachtzeit auf den Gassen treibt."

"Caterina", sagte Theodor, "erkennst du mich?"

"Ja!" antwortete das Mädchen.

"Es ist richtig", murmelte der Schiffer. "Caterina, so nannte sie der andere."

"Du wirst mit mir gehn, Caterina", sagte Theodor. "Du wirst mir den nennen, um dessentwillen du mich verlassen hast, daß ich in Angst und Wut die Straßen Roms auf und ab nach dir gesucht habe. So? Nach Ostia? Und dort wollt' er nach dir sehen? Es ist genug. Komm!"

Er sprach diese Worte so ernsthaft und mit einem Gesicht, auf dem so deutlich Schmerz und Entschlossenheit standen, daß keinem ein Zweifel nahetrat. "Es ist ihr Mann!" flüsterten sie. "Sie ist ihm mit einem anderen entlaufen. Dem gnade Gott, wenn er ihm auch so in die Hände kommt wie diese!"

Caterina tat nichts, diesen Glauben zu irren. Gehorsam stieg sie die letzten Stufen der Treppe an Theodors Hand hinauf, und ihre Überraschung, von dem gerettet zu werden, dem zu entfliehen sie in die Gefahr geraten war, glich täuschend der dumpfen Niedergeschlagenheit einer ertappten Schuldigen. Der Schiffer allein schien nicht völlig überzeugt. Er sah das Geldstück an, das ihm Theodor zugesteckt hatte, und brummte in den Bart: "Wär' alles richtig, hätte der Herr die Hand nicht in die Tasche gesteckt. Nun, ich bin doppelt bezahlt. Was geht's mich an?"

* * *

Theodor ging erst mit ihr ein paar Straßen weit und hatte sie noch immer bei der Hand gefaßt; keins sah das andere an, noch fiel ein Wort zwischen ihnen, bis er sie auf einmal losließ und fragte: "Wohin soll ich Euch führen, Caterina?"

"Ich weiß nicht", sagte sie.

"Nach Via Margutta?"

"Nein" – und sie schrak zusammen – "die Alte fände mich da oder er."

"Wer?"

"Ich darf ihn nicht nennen, Euch am wenigsten; er hat mir's verboten."

"So ist es Bianchi", sagte Theodor dumpf. Sie wagte nicht zu leugnen.

Während sie weitergingen, befestigte sich die Ahnung, die in seinen Gedanken aufgegangen war. Die seltsame Stummheit des Künstlers, als er ihm von den Spielen und seiner Begegnung mit dem Mädchen erzählt, war ihm nun erst bedeutsam und erklärt. 'Hätten wir nicht geschwiegen zueinander von dem, was uns das Liebste war!' klagte er sich und den Freund an. Doch wußte er noch nicht alles.

Am Hause angelangt, wo er wohnte, suchte er den Schlüssel und öffnete. Caterina trat zurück. "Ich gehe da nicht mit", sagte sie. "Nein, und sollt' ich auf den Stufen von Santa Maria Maggiore schlafen, lieber als da hinein, mit Euch!" – "Kind", sagte er schmerzlich, "ich bin nicht mehr, der ich dir noch vor wenig Stunden scheinen mochte. Du bist sicher bei mir wie bei einem Bruder."

Sie sah ihn in der Dunkelheit an, so scharf sie konnte, und es war, als käme ihr plötzlich eine besondere Erleuchtung. "Ich weiß", sagte sie und blieb immer noch einige Schritt von der Tür; "er hat es mit Euch abgeredet. Er kam und wollte mir im guten sagen, daß er mich an Euch verhandelt habe oder verschenkt. Ich sollte Euch lieben wie ihn. 'Ich kann nicht', sagt' ich ihm, und in mir schwor ich's, und er sah wohl, daß ich Ernst daraus mache. Da wollt' er mich überlisten und brachte mich in den Kahn hinunter und lief dann zu Euch, zu sagen, ich sei drunten und Ihr solltet mich holen. Aber Ihr sollt mich nicht haben, und wenn Ihr tausendmal sein Freund seid und er mich tausendmal morden will, wenn ich seinen Willen nicht tue. Geht! Ich finde schon meinen Weg nach dem Gebirge zurück, und Ihr könnt ihm sagen – was Ihr wollt, und – gute Nacht!"

Sie wandte sich. Kaum hatte Theodor Zeit, aus der Bestürzung sich aufzuraffen und ihr nachzueilen. Er ergriff sie bei der Hand. "Caterina",

sagte er, "wenn ich dir schwöre, daß du bei mir sein sollst wie eine Schwester, daß ich dich deinem Carlo wiedergeben will, wie du von ihm gegangen – du *kannst* dich nicht weigern, mir in mein Haus zu folgen!"

"Das wolltet Ihr? Das könntet Ihr?" fragte sie stillstehend und ungläubig. "Es ist unmöglich, Ihr kennt ihn nicht; ihn ändert keiner."

"Vertraue!" sagte er. Die Hoffnung, die ihr zu lieblich zusprach, kam ihm zu Hilfe. Sie machte sich sanft los und ging neben ihm ins Haus hinauf. Sobald sie oben in seiner Wohnung war, noch im Dunkeln, setzte sie sich auf einen Stuhl hart neben der Tür, ihr Bündel, das sie immer bei sich geführt, auf dem Schoße vor sich. Er zündete Licht an und sprach nicht mehr und wühlte in Papieren, mechanisch, ohne Zweck. Seine Seele brannte, wenn er an Bianchis Tat dachte; das entzückende Bewußtsein, ihn so zu besitzen, wie diese Stunde ihn belehrt, hielt ihn, wenn er an den Gedanken, Marien verloren zu haben, fast vergehen wollte.

Indem er so in die Zukunft hinaussinnt und sich bereitet, sein Schicksal auf sich zu nehmen, hört er ein leises Atmen von der Tür her. Er sieht auf und bemerkt, daß Caterina sich in festen Schlaf geweint hat. Leise naht er ihrem Sitz. Das Haupt ist ihr auf die Schulter gesunken, die Arme hängen nieder, die Brust stürmt in ängstlichen Träumen. Er hebt sie sicher und vorsichtig auf und trägt sie mit kräftigen Armen auf ein Sofa, das an der Wand steht. Wie er sie dort niederläßt, nähert sich sein Gesicht ihrer Wange; er empfindet den gesunden Hauch der Lippen, der Duft des Haares weht ihn an, die Fülle der Glieder ruht blühend vor ihm. Aber alles Verlangen schweigt in ihm. Er hebt sich empor, breitet seinen Mantel über die Schlafende und geht still in die Kammer. Erst als die geringeren Sterne ausloschen, findet er einen kurzen, unruhigen Schlaf. Aber kein Gedanke an Caterina macht ihn unruhig.

* * *

Am hellen Morgen trat er in Bianchis Werkstatt. Er erschrak, wie das fahle, verwachte Antlitz des Freundes von der Arbeit zu ihm aufstarrte. Die Haare schienen ihm grauer geworden, die Augen dunkler. Doch ward der gekniffene Mund mild, als er Theodor sah.

"Ihr hattet eine böse Nacht", sagte der, "und mein ist die Schuld."

"Ich habe gewacht", erwiderte Bianchi ruhig; "aber was wollt Ihr für meine Grillen können, die mich dann und wann um den Schlaf singen? Reden wir von bessern Dingen. Erzählt, lest, vor allem bleibt, wenn Ihr könnt. Sei es denn gestanden: Es ist mir heut eine besondere Wohltat, Euch sprechen zu hören!"

"Lieber! es ist umsonst, noch jetzt sich in Worte hüllen, wo das

geheime Herz zutage liegt. Ich weiß alles!”

“Ihr wißt? – So verschweigt, was Ihr wißt!” sprach Bianchi heftig, “verschweigt, von wem Ihr’s habt, redet mir nie ein Wort davon! Es liegt hinter mir, hinter mir, ja!” fuhr er fort, “und denkt davon, was Ihr mögt; nur laßt alles bleiben, wie es war. Versprecht mir’s!”

Theodor stand in Schmerzen. Er dachte daran, daß er in wenig Tagen fern von hier das alles auch ansehen würde, als läge es weit, weit hinter ihm. Aber er konnt’ ihm das nicht gestehn, wenn er nicht das nächste, was zu tun war, zerrütten wollte.

“Ich muß dennoch reden”, sagte er endlich. “Hätt’ ich gestern geschwiegen, da ich mit jenen leichtsinnigen Worten Eure Ruhe erschütterte, so wäre Euch viel erspart. Ihr hättet die Perle nicht von Euch geworfen, nach der ich Tor einen übermütigen, selbstvergessenen Augenblick lang die Hand ausstreckte.”

Bianchi schwieg; die Glut stieg in ihm auf, er suchte nach Worten. – “Wenn ich sie Euch nun zurückbrächte und sagte: Da habt sie wieder; ich beneide Euch nicht, denn mein Herz hängt an einem Kleinod, und es braucht kein Opfer, um uns beide beieinander zu halten – würdet Ihr mir glauben, Carlo?”

Er sah den Wechsel der übermächtigen Empfindungen auf dem Gesicht des Freundes. Der Künstler hielt sich am Tisch, das Haupt auf die Brust gedrückt, die schwer arbeitete; die Lippen bewegten sich tonlos. Theodor ging zur Tür und rief: “Caterina!” Sie hatte draußen gestanden, Tod und Leben vor sich. Als sie still mit furchtsamen Schritten über die Schwelle trat, sah sie Carlo mit ausgebreiteten Armen am Tische stehn; die Knie versagten ihm. Da stürzte sie mit einem Schrei an seinen Hals.

Die Tür war offen geblieben. Theodor hatte ihr den Rücken zugewendet, in das Bild Edwards vertieft, das seitwärts unverhangen auf dem Gerüste stand. Er hörte Geräusch an der Schwelle und sah um. In demselben Augenblick löste sich Caterina aus Bianchis Arm und erschrak. Sie sahen drei fremde Gestalten verlegen in der offenen Tür, ein älteres Paar und eine schöne junge Dame. Theodor erkannte sie.

“Wir stören”, sagte der Herr, “wir bitten um Verzeihung; aber die Tür war weit offen. Wir kommen wieder, wenn es Euch gelegener ist, Signor Bianchi.”

“Treten Sie ein”, sagte Bianchi. “Sie stören nicht. Die hier anwesend, sind mein Freund und meine Frau – Signora Bianchi.” Er betonte das letzte Wort, und sein Blick fiel auf Caterina, die im Überschwang des Glückes zu ihm auf sah. Indes war Theodor von dem Bilde zurückgetreten. Der Vater begrüßte ihn mit alter Herzlichkeit und wandte sich dann dem Kunstwerke zu. Mit den Frauen wechselte er keinen Gruß. Die lebhaft alte Frau war nach den ersten Worten Bianchis vor das

Relief getreten und stand sprachlos. Mariens Auge hing nur kurze Zeit an dem Bilde des Bruders, dann flog es zu Caterina. Sie erkannte sie wohl. Während die Eltern in tiefster Rührung aneinander lehnend sich vom Bilde nicht trennen konnten, trat sie nahe zu Theodor. Sie faßte seine Hand, sie sprach leise zu ihm, die Augen flossen ihr über. Sie tauschten Geständnisse, Selbstanklagen, Gelübde, jedes dem anderen zuvorkommend, jedes das andere an unbegrenzter Hingebung überbietend. Keiner belauschte sie. Denn auch Bianchi, obwohl er nicht sprach, vergaß alles über den Augen seines Weibes.

Endlich ging Mariens Vater auf ihn zu und drückte ihm die Hand. Seine Augen waren feucht; die Mutter weinte still in ihr Tuch. "Ihr wisset genug", sagte der alte Herr; "Ihr erlaßt uns zu sprechen. Eins nur: Wann beginnt die Ausführung? Ich habe meinen Plan geändert. Ich wünsche nur einen Stein auf das Grab meines Sohnes, der die einfache Inschrift trägt. Dieses Bild wüßt' ich gern in dem Zimmer, das er bewohnte, an der Stelle, wo sein Bett stand. Wir können den Ort nicht besser einweihen. Aber ich kann den Tag nicht erwarten, wo es unser wird. Ihr werdet am besten selbst für den Marmor sorgen. Verschiebt es nicht einen Tag!"

Indessen hatte sich die Mutter gefaßt. Sie wandte sich und reichte Theodor die Hand; sie zog ihn heran und küßte ihn auf den Mund, was sie nur einmal getan, da sie ihm ihr Kind verlobte. Dann verließen sie alle die Werkstatt. Die Lüfte waren rein, und über dem Tiberufer schien die Sonne.

1853

DAS MÄDCHEN VON TREPPI

Auf der Höhe des Apennin,⁴² wo er sich zwischen Toscana⁴³ und dem nördlichen Teil des Kirchenstaats⁴⁴ hinzieht, liegt ein einsames Hirtendorf, Treppi genannt. Die Pfade, die hinaufführen, sind für Wagen unzugänglich. Viele Stunden weiter nach Süden in großem Umweg überschreitet die Straße der Posten und Vetturine⁴⁵ das Gebirge. Treppi vorüber ziehen nur Bauern, die mit den Hirten zu handeln haben, selten ein Maler oder landstraßenscheuer Fußwanderer und in den Nächten die Schmuggler mit ihren Saumtieren, die das öde Dorf, wo sie kurze Rast machen, auf noch viel rauheren Felswegen zu erreichen wissen als alle andern.

Es war erst gegen die Mitte Oktobers, eine Zeit, wo die Nächte in dieser Höhe noch von großer Klarheit zu sein pflegen. Heute aber hatte sich nach dem sonnenheißen Tage ein feiner Nebel aus den Schluchten heraufgewälzt und breitete sich langsam über die edelgeformten nackten Felszüge des Hochlandes. Es mochte gegen neun Uhr abends sein. In den zerstreuten niedrigen Steinhütten, die über Tag nur von den ältesten Weibern und jüngsten Kindern bewacht werden, glommen nur noch schwache Feuerscheine. Um die Herde, über denen die großen Kessel wankten, lagen die Hirten mit ihren Familien und schliefen; die Hunde hatten sich in die Asche gestreckt; eine schlaflose Großmutter saß wohl noch auf einem Haufen Felle und bewegte mechanisch die Spindel hin und her, Gebete murmelnd oder ein unruhig schlafendes Kind im Korb schaukelnd. Die Nachtluft zog feucht und herbstlich durch die handgroßen Lücken in der Mauer, und der Rauch der ruhig ausbrennenden Herdflamme, der jetzt vom Nebel gedrängt wurde, schlug schwerfällig zurück und floß an der Decke der Hütte hin, ohne daß es der Alten beschwerlich ward. Hernach schlief auch sie mit offenen Augen, soviel sie konnte.

Nur in einem Hause war noch Bewegung. Es hatte auch nur ein Stockwerk wie die andern; aber die Steine waren besser gefugt, die Tür breiter und höher, und an das weite Viereck, das die eigentliche Wohnung ausmachte, lehnten sich mancherlei Schuppen, angebaute Kammern, Ställe und ein gut gemauerter Backofen. Vor der Haustür stand ein Trupp beladener Pferde, denen ein Bursch eben die geleerten Krippen wegrieß, während sechs bis sieben bewaffnete Männer aus dem Hause traten, in den Nebel hinaus, und eilig ihre Tiere rüsteten. Ein uralter Hund, der neben der Tür lag, bewegte nur leicht den Schweif, als sie aufbrachen. Dann erhob er sich müde von der Erde und ging langsam in das Innere der Hütte, wo das Feuer noch hell brannte. Am Herde stand seine Herrin, dem Feuer

zugewendet, die stattliche Gestalt regungslos, die Arme an den Hüften herabhängend. Als der Hund mit der Schnauze sanft gegen ihre Hand rührte, wandte sie sich, als schrecke sie aus Träumen auf. „Fuoco“,⁴⁶ sagte sie, „mein armes Tier, geh schlafen, du bist krank!“ – Der Hund winselte und bewegte den Schweif dankbar. Dann kroch er auf ein altes Fell neben dem Herd und streckte sich hustend und winselnd nieder.

Indessen waren auch einige Knechte hereingekommen und hatten sich um den großen Tisch an die Schüssel gesetzt, welche die abziehenden Schmuggler soeben verlassen hatten. Eine alte Magd füllte sie aus dem großen Kessel von neuem mit Polenta⁴⁷ und setzte sich nun ebenfalls mit ihrem Löffel zu den andern. Während sie aßen wurde kein Wort laut; die Flamme knisterte, der Hund stöhnte heiser aus dem Schlaf, das ernsthafte Mädchen saß auf den Steinplatten des Herdes, ließ das Schüsselchen mit der Polenta, das ihr die Magd besonders hingestellt hatte, unberührt und sah in der Halle umher, ohne Gedanken in sich versunken. Vor der Tür stand der Nebel jetzt schon wie eine weiße Wand. Aber zugleich ging der halbe Mond eben hinter dem Rand des Felsens in die Höhe.

Da kam es wie Hufschlag und Menschentritte die Straße herauf. – „Pietro!“ rief die junge Hausherrin mit ruhig erinnerndem Ton. Ein langer Bursch stand augenblicklich vom Tische auf und verschwand im Nebel.

Man hörte jetzt die Schritte und Stimmen näher, endlich hielt das Pferd am Hause. Noch eine Weile, so erschienen drei Männer unter der Tür und traten mit kurzem Gruß ein. Pietro näherte sich dem Mädchen, das teilnahmslos in die Flamme sah. „Es sind zwei von Porretta“,⁴⁸ sagte er ihr, „ohne Waren; sie führen einen Signore⁴⁹ über die Berge, der seine Pässe nicht in Ordnung hat.“

„Nina!“ rief das Mädchen. Die alte Magd stand auf und kam an den Herd.

„Das ist's nicht allein, daß sie essen wollen, Padrona“,⁵⁰ fuhr der Bursch fort. „Ob der Herr ein Lager haben kann für die Nacht. Er will nicht weiter vor Tagesanbruch.“

„Mach ihm eine Streu in der Kammer.“ Pietro nickte und ging wieder an den Tisch.

Die drei hatten Platz genommen, ohne daß die Knechte sie einer besondern Aufmerksamkeit würdigten. Zwei davon waren Contrabbandieri,⁵¹ wohlbewaffnet, die Jacken leicht übergeworfen, die Hüte tief über die Stirn gedrückt. Sie nickten den andern zu wie guten Bekannten, und nachdem sie ihrem Begleiter einen breiten Platz eingeräumt hatten, schlugen sie das Kreuz und aßen.

Der Signore, der mit ihnen gekommen, aß nicht. Er nahm den Hut von der hohen Stirn, strich mit der Hand durchs Haar und ließ die Augen über den Ort und die Gesellschaft schweifen. An den Wänden las er die

mit Kohle gemalten frommen Sprüche, sah im Winkel das Madonnenbild mit dem Lämpchen, daneben die Hühner, die auf der Stange schliefen, dann die Maiskolben, die auf Schnüre gereiht an der Decke hingen, ein Brett mit Krügen und Korbflaschen, übereinandergeschichtete Felle und Körbe. Das Mädchen am Herd fesselte endlich seine unruhigen Augen. Das dunkle Profil zeichnete sich streng und schön gegen das flackernde Rot des Herdfeuers, ein großes Nest schwarzer Flechten lag tief auf dem Nacken, die Hände hatte sie ineinander verschränkt auf das eine Knie gelegt, während der andere Fuß auf dem Felsboden des Gemachs ruhte. Wie alt sie sein mochte, konnte er nicht erraten. Doch sah er an ihrem Gebaren, daß sie die Wirtin des Hauses war.

“Habt Ihr Wein im Hause, Padrona?” fragte er endlich. Er hatte diese Worte kaum gesagt, als das Mädchen wie vom Blitz gestreift emporfuhr und aufrecht neben dem Herde stand, mit beiden Armen sich auf die Platten stützend. In demselben Augenblick fuhr der Hund aus dem Schlafe auf. Ein wildes Murren brach aus seiner keuchenden Brust vor. Der Fremde sah plötzlich vier funkelnde Augen auf sich gerichtet.

“Darf man nicht fragen, ob Ihr Wein im Hause habt, Padrona?” wiederholte er jetzt. Noch aber hatte er das letzte Wort nicht geredet, als der Hund in unerklärlicher Wut laut heulend auf ihn zusprang, ihm den Mantel mit den Zähnen von der Schulter riß und von neuem gegen ihn losgesprungen wäre, wenn nicht ein scharfer Ruf seiner Herrin ihn gebändigt hätte.

“Zurück, Fuoco, zurück! Friede, Friede!” – Der Hund stand mitten im Zimmer, heftig mit dem Schweife schlagend, den Fremden unverwandt im Auge. – “Schließ ihn in den Stall, Pietro!” sagte das Mädchen halblaut. Sie stand noch immer wie erstarrt am Herde und wiederholte den Befehl, als Pietro zauderte. Denn seit langen Jahren war der nächtliche Platz des alten Tiers neben dem Herde gewesen. Die Knechte flüsterten untereinander, der Hund folgte widerwillig, und sein Heulen und Winseln drang schauerlich von draußen herein, bis es vor Erschöpfung nachzulassen schien.

Indessen hatte die Magd auf einen Wink der Wirtin Wein gebracht. Der Fremde trank, reichte den Becher seinen Begleitern und sann im stillen über den wunderlichen Aufruhr nach, den er unwissentlich angestiftet. Ein Knecht nach dem andern legte den Löffel nieder und ging mit einem “Gute Nacht, Padrona!” hinaus. Zuletzt waren die drei mit der Wirtin und der alten Magd allein.

“Die Sonne geht um vier Uhr auf”, sagte der eine Schmuggler halblaut zu dem Fremden. “Eccellenza braucht nicht früher aufzubrechen, um bei guter Zeit in Pistoja zu sein. Es ist auch wegen des Pferdes, das seine sechs Stunden stehen muß.”

“Es ist gut, meine Freunde. Geht und schlaft!”

“Wir werden Euch wecken, Eccellenza.”

“Auf alle Fälle”, erwiderte der Fremde. “Obwohl die Madonna weiß, daß ich nicht oft sechs Stunden in einem Strich schlafe. Gute Nacht, Carlone; gute Nacht, Meister Baccio!”

Die Leute rückten ehrerbietig die Hüte und standen auf. Der eine ging nach dem Herd und sagte: “Ich habe einen Gruß, Padrona, vom Costanzo aus Bologna, und ob es bei Euch war, wo er sein Messer hat liegenlassen letzten Samstag.”

“Nein”, sagte sie kurz und ungeduldig.

“Ihr hättet’s ihm wohl wieder zurückgeschickt, sagte ich ihm, wenn’s hier gewesen wäre. Und dann –”

“Nina”, unterbrach sie ihn, “zeige ihnen den Weg in die Kammer, wenn sie ihn vergessen haben.”

Die Magd stand auf. “Ich wollte nur noch sagen, Padrona”, fuhr der Mann mit großer Ruhe und leisem Zwinkern der Augen fort, “daß dieser Herr dort das Geld nicht ansähe, wenn Ihr ihm ein sanfteres Bett machtet als unsereinem. Das wollt’ ich Euch sagen, Padrona, und nun schenk’ Euch die Madonna eine gute Nacht, Signora Fenice!”⁵²

Damit wandte er sich zu seinem Gesellen, neigte sich, wie dieser, vor dem Bilde in der Ecke, bekreuzte sich, und beide verließen mit der Magd das Gemach. “Gute Nacht, Nina!” rief das Mädchen. Die Alte wandte sich noch auf der Schwelle und machte ein fragendes Zeichen, zog dann aber rasch und gehorsam die Türe hinter sich zu.

Sie waren kaum allein, als Fenice eine Messinglampe, die seitwärts am Herd stand, ergriff und hastig anzündete. Das Herdfeuer erlosch mehr und mehr, die drei roten Flämmchen der Lampe erhellten nur einen kleinen Teil des weiten Raumes. Es schien, als habe die Dunkelheit den Fremden schläfrig gemacht, denn er saß am Tische, den Kopf auf die Arme gelegt, den Mantel dicht um sich gezogen, als gedenke er so die Nacht zuzubringen. Da hörte er seinen Namen rufen und sah empor. Die Lampe brannte vor ihm auf dem Tisch, ihm gegenüber stand die junge Wirtin, die ihn gerufen hatte. Ihr Blick traf den seinen mit großer Gewalt.

“Filippo”, sagte sie, “kennt Ihr mich nicht mehr?”

Er sah eine Zeitlang forschend in das schöne Gesicht, das vom Schein der Lampe glühte und mehr noch von der Angst, welche Antwort ihrer Frage werden würde. Das Gesicht war wohl des Wiedererinnerns wert. Die weichen, langen Augenwimpern sänftigten, wie sie langsam auf und nieder gingen, die Strenge der Stirn und der schmalgeformten Nase. Der Mund blühte in der röttesten Jugend; nur hatte er, wenn er schwieg, einen Zug von Entsagung, Schmerz und Wildheit, dem die schwarzen Augen nicht widersprachen. Jetzt erst, als sie am Tische stand, zeigte sich

auch der herbe Reiz der Gestalt, besonders die Schönheit des Nackens und Halses. Und dennoch sprach Filippo nach einigem Besinnen:

“Ich kenne Euch wahrlich nicht, Padrona!”

“Es ist nicht möglich”, sagte sie mit einem wunderbar tiefen Ton der Gewißheit. “Ihr habt ja sieben Jahre Zeit gehabt, mich im Sinn zu behalten. Das ist lang; da kann ein Bild sich schon einprägen.”

Das seltsame Wort schien ihn jetzt erst völlig aus seinen besondern Gedanken loszumachen. “Ja, Mädchen”, sagte er, “wer sieben Jahre zu nichts anderm anwendet, als einem schönen Mädchenkopf nachzudenken, der muß ihn wohl zuletzt auswendig wissen.”

“Ja”, sagte sie nachdenklich, “so ist es, so sagtet Ihr auch damals, daß Ihr an nichts anderes denken würdet.”

“Vor sieben Jahren? So war ich noch ein scherzhafter Mensch vor sieben Jahren. Und du hast das im Ernst geglaubt?”

Sie nickte dreimal sehr ernsthaft. “Warum sollte ich nicht? Ich habe es ja an mir selbst erfahren, daß Ihr recht hattet.”

“Kind”, sagte er mit einer gutmütigen Miene, die seinen entschiedenen Zügen wohlstand, “das tut mir leid. Vor sieben Jahren dacht’ ich wohl noch, es wüßten es alle Weiber, daß zärtliche Männerworte nicht viel mehr wert sind als Spielmarken, die man freilich gelegentlich gegen klingendes Gold umwechselt, wenn es ausdrücklich ausgemacht ist. Was dacht’ ich nicht alles vor sieben Jahren von euch Weibern! Jetzt denk’ ich, ehrlich gesagt, selten an euch. Liebes Kind, man hat so viel Wichtigeres zu denken.”

Sie schwieg, als ob sie das alles nicht verstünde und ruhig abwarten wollte, bis er etwas sagte, was sie wirklich anging.

“Es dämmert jetzt freilich in mir auf”, sagte er nach einigem Sinnen, “daß ich diesen Teil des Gebirges schon einmal durchwandert habe. Ich hätte auch vielleicht das Dorf und dieses Haus wiedererkannt, ohne den Nebel. Ja, ja, es war allerdings vor sieben Jahren, wo mich der Arzt in die Berge schickte und ich wie ein Narr die steilsten Wege auf und ab stürmte.”

“Ich wußte es wohl”, sagte sie, und ein rührender Glanz der Freude erschien auf ihren Lippen, “ich wüßte es wohl, Ihr könntet es nicht vergessen haben. Hat es doch der Hund, der Fuoco, nicht vergessen, auch nicht seinen alten Haß auf Euch von damals, – noch ich – meine alte Liebe.”

Das sagte sie mit so großer Festigkeit und Heiterkeit, daß er immer erstaunter zu ihr aufsah. “Ich besinne mich nun auch auf ein Mädchen”, sagte er, “das ich einmal auf der Höhe des Appenin traf und das mich zu seinen Eltern nach Hause brachte. Ich hätte sonst die Nacht auf den Klippen zubringen müssen. Ich weiß auch, daß sie mir gefiel –”

“Ja”, unterbrach sie ihn, “sehr!”

“Aber ich gefiel dem Mädchen nicht. Ich hatte ein langes Gespräch mit ihr, zu dem sie nicht viel über zehn Worte beisteuerte. Als ich ihr endlich das schlafende finstre Mündchen mit einem Kuß aufzuwecken dachte – ich sehe sie noch, wie sie von mir weg auf die Seite sprang und mit jeder Hand einen Stein aufhob, daß ich kaum ungesteinigt davonkam. Wenn *du* jenes Mädchen bist, wie kannst du von deiner alten Liebe zu mir reden?”

“Ich war fünfzehn Jahr, Filippo, und schämte mich sehr. Ich war immer so trotzig gewesen und allein und wußte mich nicht auszudrücken. Und dann hatte ich Furcht vor den Eltern, die lebten damals noch, wie Ihr wissen werdet. Mein Vater hatte die vielen Hirten und Herden und hier die Schenke. Es ist seitdem nicht viel anders geworden. Nur, daß er nicht mehr hier schaltet und schilt – seine Seele sei im Paradiese! Und vor der Mutter schämte ich mich am meisten. Wißt Ihr noch, gerade an demselben Fleck saßet Ihr damals, Ihr lobtet noch den Wein, den wir von Pistoja hatten. Mehr hörte ich nicht, die Mutter sah mich scharf an, da ging ich hinaus und stellte mich hinter das Fenster, um Euch noch betrachten zu können. Ihr waret jünger, natürlich, aber nicht schöner. Ihr habt noch heut dieselben Augen, mit denen Ihr damals gewinnen konntet, wen Ihr wolltet; und dieselbe dunkle Stimme, die den Hund so aufbrachte vor Eifersucht, armes Tier! Bisher hatte ich ihn allein geliebt. Er merkte wohl, daß ich Euch mehr liebte, er merkte es besser als Ihr selbst.”

“Richtig”, sagte er, “er war in jener Nacht wie unsinnig. Eine wunderliche Nacht! Du hattest mir’s doch sehr angetan, Fenice. Ich weiß, daß ich keine Ruhe hatte, als du gar nicht wieder ins Haus zurückkommen wolltest, daß ich aufstand und dich draußen suchte. Dein weißes Kopftuch sah ich, und dann nichts mehr von dir, denn du sprangst in die Kammer neben dem Stall.”

“Das war meine Schlafkammer, Filippo. Da durftet Ihr doch nicht hinein.”

“Aber ich wollt’ es. Ich weiß noch, wie lange ich stand und pocht’ und bettelte, der schlechte Gesell, der ich war, und meinte, der Kopf müsse mir springen, wenn ich dich nicht noch einmal sähe.”

“Der Kopf? Nein, das Herz, saget Ihr. Ich weiß sie noch alle wohl, die Worte, alle!”

“Und wolltest doch damals nichts von ihnen wissen.”

“Mir war zumute wie zum Sterben. Ich stand im hintersten Winkel und dachte, wenn ich mir nur das Herz fassen könnte, an die Türe zu schleichen, den Mund an die Spalte zu legen, durch die Ihr sprach, daß ich den Hauch empfunden hätte.”

“Törichte verliebte Jugend! Wäre deine Mutter nicht gekommen,

ich stände wohl noch da; du hättest denn inzwischen aufgemacht. Ich schäme mich jetzt beinahe, wie ich im hellen Ärger und Grimm davonging und die Nacht hindurch einen langen Traum von dir hatte.”

“Ich habe im Finstern gesessen und gewacht”, sagte sie. “Gegen Morgen überfiel mich ein Schlaf, und als ich aufwachte und in die Sonne sah – wo wart Ihr? Es sagte mir’s keiner, und fragen konnt’ ich nicht. Ich hatte einen solchen Haß, ein menschliches Gesicht zu sehen, als hätten sie Euch umgebracht, damit ich Euch nur nicht mehr sähe. Ich lief fort, wie ich ging und stand, die Berge auf und ab, zuweilen schrie ich nach Euch, zuweilen verwünschte ich Euch, denn um Euch konnte ich nun keinen Menschen mehr lieben. Am Ende kam ich unten in der Ebene an, da erschrak ich und kehrte wieder um. Zwei Tage war ich weg gewesen. Der Vater schlug mich, als ich wiederkam, und die Mutter sprach nicht mit mir. Sie wußten wohl, warum ich weggelaufen war. Nur der Hund war mit mir gewesen, der Fuoco; aber wenn ich Euren Namen rief in der Einsamkeit, heulte er.”

Es entstand eine Pause, in der die Blicke der beiden Menschen aufeinander ruhten. Dann sagte Filippo: “Wie lange sind deine Eltern nun tot?”

“Drei Jahr. Sie starben beide in derselben Woche – ihre Seelen seien im Paradiese! Dann bin ich nach Florenz gegangen.”

“Nach Florenz?”

“Ja. Ihr sagtet ja, Ihr wäret aus Florenz. Die Frau des Caffetiere⁵³ draußen bei San Miniato,⁵⁴ an die wiesen mich welche von den Contrabbandieri. Einen Monat habe ich da gelebt und sie alle Tage in die Stadt geschickt, nach Euch zu fragen. Abends ging ich selbst hinunter und suchte Euch. Am Ende hörten wir, daß Ihr längst fortgezogen, keiner wollte recht wissen, wohin.”

Filippo stand auf und ging mit starken Schritten durch das Gemach. Fenice wandte sich nach ihm, ihr Blick folgte ihm, doch verriet sie keine Spur einer ähnlichen Unruhe, wie sie ihn umhertrieb. Er kam endlich auf sie zu, sah sie eine Weile an und sagte dann: “Und wozu gestehst du mir das alles, la Poveretta?”⁵⁵

“Ich habe sieben Jahre Zeit gehabt, mir einen Mut dazu zu fassen. Ach, wenn ich es Euch damals gestanden hätte, es hätte mich nicht so unglücklich gemacht, dieses feige Herz. Aber ich wußte, daß Ihr wiederkommen müßtet, Filippo; nur daß es so lange dauerte, das hatte ich nicht gedacht, das tat mir weh. – Ein Kind bin ich, so zu sprechen. Was kümmert mich, was nun vorüber ist? Filippo, da seid Ihr, und hier bin ich und bin Euer, ewig, ewig!”

“Liebes Kind!” sagte er leise und verschwieg dann wieder, was er auf der Zunge hatte. Sie empfand es aber nicht, daß er so nachdenklich und schweigsam vor ihr stand und über ihre Stirn weg auf die Wand

starrte. Sie sprach ruhig weiter; es war, als wären ihr ihre Worte seit lange bekannt, als habe sie sich tausendmal im stillen vorgestellt: 'Er wird kommen, und das und das wirst du ihm sagen.'

"Ich habe schon viele heiraten sollen, hier oben, und als ich in Florenz war. Ich wollte nur dich. Wenn mich einer bat und sagte mir süße Reden, gleich war deine Stimme da, aus jener Nacht, deine Reden, die süßer waren als alle Worte unterm Monde. Seit manchem Jahr lassen sie mich in Ruh', obwohl ich noch nicht alt bin und so schön, wie ich immer war. Es ist, als ob sie alle wüßten, daß du nun bald kommen würdest." – Dann wieder:

"Wo willst du mich nun hinführen? Willst du hier oben bleiben? Nein, es taugt nicht für dich. Seit ich in Florenz war, weiß ich, daß es traurig auf dem Gebirge ist. Wir wollen das Haus und die Herden verkaufen, dann bin ich reich. Ich habe das wilde Wesen mit den Leuten hier satt. In Florenz mußten sie mich alles lehren, was eine Städterin braucht, und sie wunderten sich, wie rasch ich jedes begriff. Freilich, ich hatte nicht viel Zeit, und alle Träume sagten mir, daß es hier oben sein würde, wo du mich zu suchen kämest. – Ich habe auch eine Zauberin gefragt, und auch das ist alles eingetroffen."

"Und wenn ich nun schon eine Frau hätte?"

Sie sah ihn groß an. "Du willst mich versuchen, Filippo! Du hast keine. Auch das hat mir die Strega gesagt. Aber wo du wohnest, das wußte sie nicht."

"Sie hat recht gehabt, Fenice, ich habe kein Weib. Aber woher weiß sie oder du, daß ich je eine haben will?"

"Wie könntest du mich nicht wollen?" sagte sie mit unerschütterlichem Vertrauen.

"Setz dich hier zu mir her, Fenice! Ich habe dir viel zu sagen. Gib mir deine Hand; versprich mir, daß du mich verständig anhören willst bis zu Ende, meine arme Freundin!" – Als sie nichts von dem allen tat, fuhr er mit klopfendem Herzen fort, vor ihr stehenbleibend und das Auge traurig auf sie geheftet, während das ihrige wie in Ahnungen, die ihr ans Leben gingen, bald geschlossen war, bald am Boden hin irrte.

"Ich habe schon vor Jahren aus Florenz fliehen müssen", erzählte er. "Du weißt, da waren jene politischen Tumulte, die so lange hin und her schwankten. Ich bin Advokat und kenne eine Menge Menschen und schreibe und empfangen einen großen Haufen Briefe das Jahr hindurch. Zudem war ich unabhängig, sagte meine Meinung, wo es not tat, und wurde verhaßt, obwohl ich die Hände bei ihrem heimlichen Spiel nie haben mochte. Am Ende mußte ich auswandern, wenn ich nicht in endloses Verhör und Gefängnis gehen wollte, ohne Nutz und Zweck. Ich bin nach Bologna gezogen und habe für mich gelebt, meine Prozesse

geführt und wenig Menschen gesehen, am wenigsten Weiber; denn von dem tollen Burschen, dem du vor sieben Jahren das Herz schwer machtest, ist nichts mehr an mir geblieben, als daß mir noch immer der Kopf oder, wenn du lieber willst, das Herz springen will, wenn ich irgendwas nicht bezwingen kann, freilich heutzutage andere Dinge als den Riegel an der Kammertür eines schönen Mädchens. – Du hast vielleicht gehört, daß es auch in Bologna in der letzten Zeit unruhig geworden ist. Man hat angesehene Männer verhaftet, darunter einen, dessen Wege und Stege ich seit langem kenne, und weiß, daß seine Seele diesen Dingen sehr fern war. Denn eine schlechte Regierung bessern sie damit so wenig, als wenn eine Krankheit unter euern Schafen ist und ihr schicktet den Wolf in den Stall. Aber was soll das hier? Genug, mein Freund bat mich, sein Advokat zu sein, und ich verhalf ihm zur Freiheit. Es war das kaum bekannt worden, als mich eines Tages ein elender Mensch auf der Straße anrannte und mich mit Beleidigungen überhäufte. Ich konnte mich nicht anders von ihm losmachen, als durch einen Stoß gegen die Brust, denn er war berauscht und keiner Erwiderung wert. Kaum hatte ich mich aus dem Menschenschwarm herausgewunden und war in ein Café getreten, so kam mir schon ein Verwandter jenes Menschen nach, nüchtern von Wein, aber trunken von Gift und Zorn, und stellte mich zur Rede, daß ich wie ein Ehrloser auf Worte mit Fäusten geantwortet hätte, statt zu tun, was jeder Galant'uomo⁵⁶ getan haben würde. Ich antwortete so gemäßigt, wie ich konnte, denn schon durchschaute ich's, daß alles eine Veranstaltung der Regierung war, mich endlich einmal unschädlich zu machen. Doch gab ein Wort das andere, und die Feinde hatten zuletzt das Spiel gewonnen. Der andere gab vor, daß er ins Toscanische hinübermüsse, und drang darauf, die Sache drüben auszumachen. Ich ging darauf ein, denn es war Zeit, daß einer von uns Besonnenen den unruhigen Köpfen bewies, nicht Mangel an Mut sei die Ursache unserer Zurückhaltung, sondern einzig die Hoffnungslosigkeit aller heimlichen Umtriebe, einer so überlegenen Macht gegenüber. Als ich aber vorgestern um einen Paß einkam, wurde er mir verweigert, ohne daß man sich herabließ, mir einen Grund dafür anzugeben; es hieß, so sei der Befehl der obersten Behörden. Es wurde mir klar, daß sie mir entweder den Schimpf zuziehen wollten, das Duell vermieden zu haben, oder mich dazu treiben, mich in irgendwelcher Verkleidung über die Grenze zu stehlen, wo ich dann sicher von einem Hinterhalt aufgefangen worden wäre. Dann hätten sie einen Vorwand gehabt, mir den Prozeß zu machen und ihn hinzuzerren, solange es ihnen nützlich erschienen wäre."

"Die Elenden! die Gottlosen!" unterbrach ihn das Mädchen und ballte die Faust.

"So blieb nichts übrig, als mich in Porretta den Contrabbandieri

anzuvertrauen. Wir werden morgen, wie sie mir sagen, noch früh Pistoja erreichen. Nachmittags ist das Duell verabredet, in einem Garten vor der Stadt.”

Sie ergriff plötzlich heftig seine Hand mit ihren beiden. “Geh nicht hinunter, Filippo”, sagte sie. “Sie wollen dich ermorden.”

“Gewiß, das wollen sie, Kind, nichts Geringeres. Woher weißt du das aber?”

“Ich sehe es hier und – hier!” Und sie deutete mit dem Finger auf Stirn und Herz.

“Du bist auch eine Zauberin, eine Strega”, fuhr er mit Lächeln fort. “Jawohl, Kind, sie wollen mich morden. Mein Gegner ist der beste Schütze in Toscana. Sie haben mir die Ehre angetan, einen slattlichen Feind gegen mich zu stellen. Nun, ich werde mir auch keine Schande machen. Wer weiß aber, ob alles mit rechten Dingen zugeht! Wer weiß! Oder hast du auch Zauberkünste, das vorauszusehen? Was hül’ es, Kind! damit wäre nichts geändert.

Du mußt es dir also schon aus dem Sinn schlagen”, fuhr er nach einigem Schweigen fort, “deiner törichten alten Liebe ihren Willen zu tun. Vielleicht hat alles so kommen müssen, damit ich nicht aus der Welt ginge, ohne dich frei zu machen, frei von dir selbst und deiner unseligen Treue, armes Kind. Siehst du, wir hätten auch vielleicht schlecht füreinander getaugt. Du warst einem andern Filippo treu, einem jungen Fant mit leichtsinnigen Wünschen und außer Liebessorgen sorgenlos. Was hättest du mit dem Grübler, dem Einsiedler anfangen wollen?”

Nun trat er auf sie zu, da er das letzte halb vor sich hin, auf und ab gehend, gesprochen hatte, und wollte eben ihre Hand fassen, als er vor dem Ausdruck ihres Gesichts sich entsetzte. Alle Weichheit war aus den Zügen gewichen, alle Röte von den Lippen. “Du liebst mich nicht!” sagte sie langsam und tonlos, als spräche ein andrer aus ihr, und sie horchte hin, um zu erfahren, was eigentlich gemeint sei. Dann stieß sie seine Hand mit einem Schrei zurück, daß die Flämmchen der Lampe zu erlöschen drohten und von draußen auf einmal ein wütendes Wimmern und Toben des Hundes laut wurde. – “Du liebst mich nicht, nein, nein!” rief sie wie außer sich. “Kannst du lieber in den Tod wollen als in meine Arme? Kannst du nach sieben Jahren kommen, um Abschied zu nehmen? Kannst du so ruhig von deinem Tode sprechen, als wäre er nicht auch meiner? So wäre mir besser, diese Augen wären erblindet, eh’ sie dich wiedersahen, und diese Ohren taub geworden, ehe sie die grausame Stimme hören mußten, durch die ich lebe und sterbe. Warum hat der Hund dich nicht zerrissen, ehe ich wußte, daß du gekommen bist, mein Herz zu zerreißen? Warum ist dein Fuß nicht an den Abgründen ausgeglitten? Wehe, wehe! Siehe meinen Jammer, Madonna!”

Sie stürzte nieder vor dem Bilde, lag mit der Stirn gegen den Boden, die Hände weit von sich gestreckt, und schien zu beten. Der Mann hörte den Lärm des Hundes, dazwischen das Murmeln und Stöhnen des unglücklichen Mädchens, während der Mond nun schon Macht gewann und das Gemach durchleuchtete. Ehe er aber noch sich fassen und ein Wort aussprechen konnte, fühlte er schon wieder ihre Arme an seinem Nacken, ihren Mund an seinem Halse und heiße Tränen über sein Gesicht fließen. "Geh nicht in den Tod, Filippo!" schluchzte die Arme. "Wenn du bei mir bleibst, wer will dich finden? Laß sie reden, was sie wollen, das Mördergesindel, die heimtückischen Elenden, schlimmer als die Wölfe des Apennin." – "Ja", sagte sie und sah durch Tränen strahlend zu ihm auf, "du bleibst, die Madonna hat dich mir geschenkt, damit ich dich retten sollte. Filippo, ich weiß nicht, was für böse Worte ich gesprochen, aber daß sie böse waren, empfand ich an dem eisigen Krampf hier am Herzen, der sie mir entrissen. Vergib mir das. Es bringt in die Hölle, zu denken, daß die Liebe vergessen und die Treue zertreten werden kann. Wir wollen uns nur hersetzen und das alles beraten. Willst du ein neues Haus haben? Wir bauen eins. Andere Leute? Wir schicken alle fort, auch die Nina, auch der Hund soll fort. Und wenn du meinst, daß sie dich dann verraten – so wollen wir selber fort, noch heut, jetzt, ich weiß alle Wege, und ehe die Sonne kommt, sind wir tief in den Schluchten nach Norden zu und wandern, wandern bis Genua, bis Venedig, wohin du willst."

"Halt!" sagte er streng. "Es ist genug der Torheit. Du kannst mein Weib nicht werden, Fenice. Wenn es morgen nicht ist, daß sie mich umbringen, so ist es nicht lange, denn ich weiß, wie ich ihnen im Wege bin." Er zog sanft, aber entschlossen seinen Hals aus ihren Armen.

"Siehe, Kind", fuhr er fort, "das ist nun unglücklich genug, und wir brauchen es uns nicht noch schwerer zu machen durch Unvernunft. Vielleicht, wenn du später einmal von meinem Tode hörst, wirst du einen Mann und schöne Kinder ansehen und dich segnen, daß der Tote in dieser Nacht mehr Vernunft hatte als du, wenn es auch in jener ersten umgekehrt war. Laß mich nun schlafen gehn, geh du auch, und schaffe, daß wir uns morgen nicht wiedersehn. Du hast einen guten Ruf, wie ich unterwegs von meinen Contrabbandieri erfuhr. Wenn wir uns etwa umhalsten, morgen, und du machtest ein Schauspiel – nicht wahr, Kind? Und nun – gute Nacht, gute Nacht, Fenice!"

Da bot er ihr noch einmal herzlich die Hand. Aber sie nahm sie nicht. Sie sah ganz bleich aus im Mondschein, die Brauen und niedergeschlagenen Wimpern um so finsterer. "Hab' ich nicht genug gebüßt", sprach sie halblaut, "daß ich vor sieben Jahren eine Nacht lang zuviel Vernunft hatte? Und nun will er, daß diese tausendmal verwünschte Vernunft mich wieder elend machen soll, und diesmal eine Ewigkeit lang?"

Nein, nein, nein! Ich lasse ihn nicht mehr aus den Händen – ich müßte mich vor allen Menschen schämen, wenn er ginge und stürbe.”

“Hörst du nicht, daß es mein Wille ist?” unterbrach er sie mit Heftigkeit, “daß ich jetzt schlafen will, Mädchen, und allein sein? Was redest du irre und machst dich kränker? Wenn du nicht fühlst, daß meine Ehre mich von dir reißt, so hättest du nie für mich getaugt. Ich bin keine Puppe auf deinem Schoß, zum Hätscheln und Possentreiben. Ich habe meine Wege vor mir gezeichnet, und sie sind zu enge für zwei. Zeige mir das Fell, auf dem ich die Nacht zubringen soll, und dann – laß uns einander vergessen!”

“Und wenn du mich mit Schlägen von dir triebest, ich ginge nicht! Wenn sich der Tod zwischen uns stellte, ich jagte dich ihm ab mit diesen guten Armen. Auf Tod und Leben – du bist mein, Filippo!”

“Still!” rief er überlaut. Die Röte stieg ihm jählings in die Stirn, indem er mit beiden Armen die heftige Gestalt von sich drängte. “Still! Und nun ist’s aus für heut und immer. Bin ich ein *Ding*, das an sich reißen kann, wer will und wem es in die Augen sticht? Ein Mensch bin ich, und wer mich haben soll, dem muß ich mich geschenkt haben. Du hast sieben Jahre nach mir geseufzt – hast du darum ein Recht, mich im achten ehrlos vor mir selbst zu machen! Wenn du mich bestechen willst, so war das Mittel schlecht gewählt. Vor sieben Jahren lieb’ ich dich, weil du anders warst als heut. Wärest du mir damals an den Hals geflogen und hättest mein Herz mir abtrotzen wollen, ich hätte Trotz gegen Trotz gesetzt, wie heut. Nun ist alles aus zwischen uns, und ich weiß, daß das Mitleid, das mich vorhin anwandelte, nicht Liebe war. Zum letztenmal, wo ist die Kammer?”

Das hatte er hart und schneidend gesagt, und wie er nun schwieg, schien ihm der Ton der eignen Stimme weh zu tun. Doch fügte er kein Wort hinzu, sich im stillen verwundernd, daß sie es ruhiger hinnahm, als er selber gefürchtet hatte. Er hätte nun gern einen stürmischen Ausbruch ihres Schmerzes mit gütigeren Worten beschwichtigt. Sie ging aber kalt an ihm vorbei, öffnete eine schwere Holztür nicht weit vom Herde, deutete stumm auf die Eisenriegel an derselben und trat dann an den Herd zurück.

Er schritt denn auch hinein und riegelte hinter sich zu. Doch blieb er eine Zeitlang dicht neben der Tür stehen, um zu horchen, was sie beginne. Es wurde keine Bewegung im Gemache laut, und im ganzen Hause hörte man nichts als die Unruhe des Hundes, das Scharren des Pferdes im Stall und das Singen des Windes, der draußen die letzten Nebelstreifen verwehte. Denn der Mond war in aller Pracht am Himmel und die Kammer hell, nachdem Filippo einen großen Hüschel Heidekraut aus dem Mauerloch gezogen hatte, das als Fenster diente. Er sah nun, daß er offenbar in Fenicens Kammer war. Da stand ihr schmales, sauberes Bett an der Wand, eine Lade unverschlossen daneben, ein Tischchen, eine

kleine Holzbank, die Wände waren mit Bildern behangen, Heiligen und Madonnen, ein Weihkesselchen unter dem Kruzifix neben der Tür.

Er setzte sich jetzt auf das harte Bett und fühlte, wie es in ihm stürmte. Ein paarmal hob er schon den Fuß, um wieder hinauszueilen und ihr zu sagen, daß er ihr nur weh getan habe, um sie zu heilen. Dann stampfte er gegen den Boden, unmutig über seine weichherzige Regung. 'Es ist das einzige, was bleibt', sprach er für sich, 'wenn Schuld und Fluch nicht noch wachsen sollen. Sieben Jahre, armes Kind!' – Ein starker Kamm, mit kleinen Metallstückchen verziert, lag auf dem Tischchen, den nahm er mechanisch in die Hand. Das volle Haar kam ihm dabei wieder in den Sinn, der stolze Nacken, auf dem es lag, die edle Stirn, um die es sich ringelte, und die bräunliche Wange. Er warf endlich den Versucher in die Lade, worin er saubere Röcke, Kopftücher und allerlei kleine Schmuckstücke ordentlich zusammen verwahrt sah. Langsam ließ er den Deckel wieder fallen und ging nun an die Mauerlücke und sah hinaus.

Die Kammer lag an der hintern Seite des Hauses, und keine der andern Hütten von Treppi wehrte ihm die Ansicht über das zerklüftete Hochland. Gegenüber, hinter der Schlucht aufsteigend, der nackte Felsrücken, vom Monde angeschieden, der jetzt über dem Hause stehen mußte. Seitwärts sah er einige Schuppen, an denen der Weg vorüber in die Tiefe führte. Eine verlorene kleine Fichte mit kahlen Zweigen wurzelte zwischen dem Gestein, sonst bedeckte den Boden nur Heidekraut und hie und da ein kümmerlicher Busch. – 'Hier ist freilich kein Ort', sagte er im stillen, 'zu vergessen, was man geliebt hat. – Ich wollte, es wäre anders! Ja, ja, sie wäre am Ende die rechte Frau für mich gewesen, die mich mehr geliebt hätte als Putz und Spazierengehen und das Geflüster der Stutzer. Was für Augen mein alter Marco machen würde, wenn ich plötzlich mit einer schönen Frau von der Reise zurückkäme! Man brauchte nicht einmal die Wohnung zu ändern, die vielen öden Winkel waren ohnehin unheimlich. Und mir altem Grämmer würde es zuweilen gut sein, ein lachendes Kind – aber Torheit, Torheit, Filippo! Was soll das arme Ding als Witwe in Bologna! Nein, nein! nichts davon! Keine neue Sünde auf die alte häufen! Ich will eine Stunde früher die Leute wecken und mich fortstehlen, ehe ein Mensch in Treppi wacht.'

Eben wollte er das Fenster verlassen und die vom langen Ritt ermüdeten Glieder aufs Lager strecken, als er eine weibliche Gestalt aus dem Schatten des Hauses in den Mondschein vortreten sah. Sie blickte nicht um, aber es blieb ihm kein Zweifel, daß es Fenice war. Sie entfernte sich vom Hause auf dem Wege, der in die Schlucht hinunterführte, mit ruhigen großen Schritten. Ein Schauer überlief ihm die Haut, denn im selben Augenblick fuhr ihm der Gedanke in den Kopf: sie will sich ein Leid antun. Ohne Besinnung sprang er nach der Tür und zerrte gewaltsam

an dem Riegel. Aber das alte, rostige Eisen hatte sich so eigensinnig in die Klammer verhakt, daß er vergebens alle Kraft aufbot. Ein kalter Schweiß trat ihm vor die Stirn, er schrie, rüttelte und stieß mit Fäusten und Füßen gegen die Tür und bezwang sie nicht. Endlich ließ er ab und stürzte wieder an die Fensterlücke. Schon gab der eine Stein seinem Wüten nach, da plötzlich sah er die Gestalt des Mädchens wieder auftauchen auf dem Wege und sich der Hütte zuwenden. Sie trug etwas in der Hand, das er bei dem unsichern Licht nicht erkennen konnte, nur ihr Gesicht sah er deutlich, das war ernsthaft und gedankenvoll, aber ohne Leidenschaft. Keinen Blick warf sie auf sein Fenster und verschwand wieder im Schatten.

Noch stand er und atmete tief nach der Angst und Anstrengung, da vernahm er großen Lärm, der von dem alten Hunde herzurühren schien, doch kein Bellen oder Winseln. Das Rätsel beklemmte ihn immer unheimlicher; er bog den Kopf weit zu der Öffnung hinaus, konnte aber nichts sehen als die regungslose Nacht im Gebirge. Auf einmal erscholl ein kurzes scharfes Heulen, darauf ein tieferschütterndes Stöhnen des Hundes, und dann, so lange und ängstlich er hinhorchte, kein Laut mehr die ganze Nacht, als daß noch einmal die Tür des Gemachs nebenan klappte und Fenices Schritte über den Steinboden sich vernehmen ließen. Umsonst stand er lange an der verriegelten Tür, horchte erst, bat und fragte dann und beschwor das Mädchen nur um ein kurzes Wort – es blieb still nebenan. Er warf sich nun auf das Bett, wie im Fieber, und lag wachend und sinnend, bis endlich eine Stunde nach Mitternacht der Mond unterging und die Ermüdung über seine tausend wogenden Gedanken Herr wurde.

Eine Dämmerung war um Filippo, als ihn der Schlaf verließ; doch als er seine Sinne völlig ermuntert und sich vom Bett aufgerichtet hatte, ward er wohl inne, daß es nicht ein Zwielflicht wie vor Sonnenaufgang war. Von einer Seite her traf ihn ein schwacher Sonnenstrahl, und bald sah er, daß die Mauerlücke, die er vor dem Einschlafen offengelassen, dennoch fest mit Gestrüpp verstepft worden war. Er stieß es hinaus, und die volle Morgensonne blendete ihn. Im höchsten Zorn auf die Contrabbandieri, seinen Schlaf und vor allem auf das Mädchen, dem er diese Hinterlist zuschreiben mußte, ging er augenblicklich nach der Tür, deren Riegel jetzt einem besonnenen Druck leicht nachgab, und trat in das Nebengemach.

Er traf Fenice allein, gelassen am Herde sitzend, als habe sie ihn längst erwartet. Aus ihrem Gesicht war jede Spur der gestrigen Stürme verschwunden, ja sogar keine Regung der Trauer und kein Zug einer gewaltsamen Fassung begegnete seinem finstern Auge.

“Du hast es veranstaltet, daß ich die Stunde verschlafen mußte”, herrschte er sie an.

“Ja”, sagte sie gleichgültig. “Ihr waret müde. Ihr kommt immer noch früh genug nach Pistoja, wenn Ihr am Nachmittag erst den Mördern begegnen müßt.”

“Ich hatte dich nicht geheißt, um meine Müdigkeit besorgt zu sein. Drängst du dich noch immer an mich an? Es soll dir nichts helfen, Mädchen. Wo sind meine Leute?”

“Fort.”

“Fort? Willst du mich narren? Wo sind sie? Törin, als ob sie fortgingen, ehe ich sie bezahlt habe!” Und er schritt rasch auf die Tür zu, um hinauszugehn.

Fenice blieb unbeweglich sitzen und sagte in demselben harmlosen Ton: “Ich habe sie bezahlt. Ich sagte ihnen, daß Ihr Schlaf brauchtet und dann, daß ich selbst Euch hinunterbegleiten würde; denn der Weinvorrat ist zu Ende, und ich muß neuen kaufen, eine Stunde vor Pistoja.”

Der Zorn verwehrte ihm einen Augenblick zu sprechen. “Nein”, brach er endlich heraus, “mit dir nicht, mit dir nimmermehr! Heimtückische Schlange! Es ist lächerlich, daß du noch immer denkst, mit deinen glatten Windungen mich umstricken zu können. Nun sind wir völliger geschieden, als je. Ich verachte dich, daß du mich für blöde und armselig genug hältst, mit diesen kleinen Künsten es mir abgewinnen zu können. Mit dir geh’ ich nicht! Gib mir einen deiner Knechte mit, und da – mache dich bezahlt für deine Auslagen an die Contrabbandieri.”

Er warf ihr eine Börse hin und öffnete die Tür, selbst jemand zu suchen, der ihn hinunterführte. “Macht Euch keine Mühe”, sagte sie, “Ihr findet von den Knechten keinen, sie sind alle in die Berge. Auch sonst ist in Treppi niemand, der Euch dienen könnte. Arme, gebrechliche Mütterchen, Greise und Kinder, die noch gehütet werden. Wenn Ihr mir nicht glaubt – seht nach!”

“Und überhaupt”, fuhr sie fort, als er unentschlossen in Grimm und Ärger auf der Schwelle stand und ihr den Rücken zugekehrt hatte, “warum dünkt es Euch so unmöglich und gefährlich, wenn ich Euch führe? Ich habe die Nacht Träume gehabt, aus denen ich sehe, daß Ihr nicht für mich seid. Es ist wahr, ich will Euch noch immer ein wenig wohl, und es wird mir Freude machen, noch ein paar Stunden mit Euch zu plaudern. Muß ich Euch darum nachstellen? Ihr seid frei, von mir zu gehn auf immer, wohin Ihr wollt, in den Tod oder ins Leben. Nur, daß ich es so eingerichtet habe, daß ich noch eine Strecke neben Euch hergehe. Ich will Euch zuschwören, wenn Euch das beruhigen kann, daß es nur eine Strecke sein wird, beileibe nicht bis Pistoja. Nur solange, bis Ihr den rechten Weg habt. Denn wenn Ihr auf Eure eigne Hand fortginget, verstieget Ihr Euch bald, daß Ihr weder vor noch zurück könntet. Ihr müßtet das ja noch wissen von Eurer ersten Reise durch die Berge.”

“Pest!” murmelte er und biß sich die Lippen. Er sah indes, wie die Sonne stieg, und alles wohlherwogen – was hatte er im Grunde Ernstliches zu besorgen? Das Ernstlichste wollte er sich nicht gestehen. Er wandte sich zu ihr um und glaubte von dem gleichmütigen Blick ihrer großen Augen Zeugnis annehmen zu dürfen, daß keinerlei Falsch hinter ihren Worten sei. Sie schien ihm wirklich seit gestern eine ganz andere geworden zu sein, und fast mischte sich ein Gefühl von Unzufriedenheit in sein Staunen, da er sich sagen mußte, daß der gestrige Anfall von schmerzlicher Leidenschaft so bald und spurlos vorübergegangen sei. Er sah sie länger an, aber sie gab schlechterdings zu keinem Argwohn Anlaß.

“Wenn du denn so vernünftig geworden bist”, sagte er jetzt trocken, “so mag es sein, so komm!”

Ohne eine sonderliche Äußerung der Freude stand sie auf und sagte: “Wir wollen erst essen; auf Stunden finden wir nichts.” Sie stellte ihm eine Schüssel hin und einen Krug und aß dann selbst, am Herde stehend, aber von dem Wein genoß sie keinen Tropfen. Er dagegen, um es abzumachen, aß einige Löffel voll, stürzte den Wein hinunter und zündete an den Kohlen des Herdes seine Zigarre an. Währenddessen hatte er ihr keinen Blick gegönnt, und als er nun zufällig, da er ihr nahe stand, sie ansah, war eine wunderliche Röte auf ihren Wangen und etwas wie Triumph in den Augen. Sie stand rasch auf, ergriff den Krug und zerschellte ihn mit einem Wurf gegen den Steinboden. “Es soll keiner mehr daraus trinken”, sagte sie, “seit Eure Lippen daran gehangen!”

Betroffen fuhr er auf, ein Argwohn stand eine Sekunde lang vor seinem Geist: ob sie dir Gift gegeben? dann zog er es vor, zu glauben, daß es noch ein Rest des verliebten Götzendienstes sei, den sie abgeschworen, und ohne weitere Worte ging er ihr nach zum Hause hinaus.

“Das Pferd haben sie wieder nach Porretta mitgenommen”, sagte sie draußen zu ihm, als er es mit den Augen zu suchen schien. “Ihr hättet auch nicht hinabreiten können ohne Gefahr. Die Wege sind steiler als gestern.”

Sie ging ihm nun voran, und bald hatten sie die Hütten hinter sich, die tot und selbst ohne ein Wölkchen Rauch aus den Schornsteinen in der scharfen Sonne standen. Jetzt erst sah Filippo die ganze Majestät dieser Einöde, über der ein reiner durchsichtiger Himmel hing. Der Weg, kaum in dem harten Felsen durch eine dunklere Spur erkennbar, lief auf dem breiten Rücken nordwärts, und dann und wann, wenn der gegenüberliegende parallele Zug sich senkte, blitzte am fernen Horizont zur Linken ein Streif des Meeres herauf. Noch war von Vegetation weit und breit keine Spur, außer den harten, niederen Bergkräutern und Flechtengestrüpp. Nun aber verließen sie die Höhe und vertieften sich in die Schlucht, die zu durchwandern war, um auch den Felsrücken

gegenüber zu ersteigen. Hier begegneten sie bald Nadelholz und Quellen, die in die Schlucht sprangen, und hörten in der Tiefe das Toben des Wassers. Fenice ging jetzt voran, mit sicherem Fuß auf die sichersten Steine tretend, ohne umzublicken oder ein Wort zu sagen. Er konnte nicht anders, als die Augen dicht an ihr hängen lassen und die schlanke Kraft der Glieder bewundern. Das Gesicht wurde ihm gänzlich durch ihr großes weißes Kopftuch verdeckt, aber wenn es sich fügte, daß sie wieder nebeneinander gehen konnten, mußte er sich zwingen, vor sich hin und von ihr wegzusehen, so sehr fesselte ihn die großartige Bildung der Züge. Er bemerkte jetzt erst im vollen Sonnenlicht einen seltsam kindlichen Ausdruck, ohne sich sagen zu können, worin er besonders liege. Als sei etwas in diesem Gesicht seit sieben Jahren stehengeblieben, während alles andere sich entwickelte.

Endlich fing er von selbst zu sprechen an, und sie gab unbefangenen verständige Antworten. Nur, daß ihre Stimme, die sonst nicht so hart und dumpf war, wie den Weibern im Gebirge eigen zu sein pflegt, heute eintönig und bei den gleichgültigsten Dingen am traurigsten klang. Diese Wege, die sie jetzt gingen, waren in den letzten Jahren vielfach von politischen Flüchtlingen betreten worden, von denen die meisten gewiß in Treppi gerastet hatten. Filippo fragte das Mädchen nach diesem und jenem seiner Bekannten, die er beschrieb: aber sie entsann sich ihrer selten, obwohl sie wußte, daß die Contrabbandieri viele Fremde in ihrem Hause hatten übernachten lassen. Nur auf einen besann sie sich nur zu klar. Bei der Beschreibung stieg ihr das Blut ins Gesicht, und sie blieb stehn. "Der ist schlecht!" sagte sie finster. "Ich habe die Knechte in der Nacht wekken und ihm das Haus verschließen müssen."

Unter diesen Gesprächen merkte der Advokat nicht, wie die Sonne stieg und noch immer kein Blick in die toscanische Flur sich auftat. Auch dachte er mit keinem Gedanken an das bevorstehende Ende dieses Tages. Es war so erquickend, fünfzig Schritt über dem Gießbach auf dem ganz überbuschten Wege hinzugehn, zuweilen den Staub des Sturzes heraufwehen zu fühlen, die Eidechsen über die Steine schlüpfen und die behenden Schmetterlinge den verstohlenen Sonnenlichtern nachjagen zu sehn, daß er nicht einmal inne wurde, wie sie dem Bach entgegenwanderten, und noch immer nicht westlich einlenkten. Es war eine Magie in der Stimme seiner Begleiterin, die ihn alles vergessen machte, was gestern in Gesellschaft der Contrabbandieri ihn unaufhörlich beschäftigt hatte. Als sie nun aber aus der Schlucht heraustraten und jetzt ein unabsehbares wildfremdes Bergland mit neuen Höhen und Klüften wüst und versengt vor ihnen lag, erwachte er auf einmal aus dem Zauberschlaf, blieb stehen und blickte gen Himmel. Er erkannte klar, daß sie in der völlig entgegengesetzten Richtung gewandert und wohl zwei

Stunden von seinem Ziele ferner waren, als da sie ausgingen.

“Halt!” sagte Filippo. “Ich sehe es noch beizeiten, daß du mich dennoch betrügst. Ist das der Weg nach Pistoja, du Heimtückische?”

“Nein”, sagte sie furchtlos, aber den Blick zu Boden gesenkt.

“Nun denn, bei allen Mächten der Hölle, so können die Teufel bei dir in die Schule gehen und Heucheln von dir lernen. Fluch über meine Verblendung!”

“Man kann alles, man ist mächtiger als Teufel und Engel, wenn man liebt”, sagte sie mit tiefem, traurigem Ton.

“Nein!” schrie er in hellem Jähzorn, “noch frohlocke nicht, Übermütige, noch nicht! Den Willen eines Mannes kann das nicht brechen, was eine verrückte Dirne Liebe nennt. Kehre um mit mir, auf der Stelle, und weise mir die kürzesten Wege – oder ich erdroßle dich mit diesen Händen, – du Törin, die nicht einsieht, daß ich die hassen muß, die mich vor der Welt zu einem Nichtswürdigen machen will.”

Er trat mit geballten Fäusten dicht vor sie hin, er kannte sich nicht mehr. “Erwürge mich nur!” sprach sie mit zitternder, lauter Stimme, “tu’s nur, Filippo. Aber wenn du es getan hast, wirst du dich über meinen Leichnam werfen und Blut aus deinen Augen weinen, daß du mich nicht wieder lebendig machen kannst. Dein Lager wird hier neben mir sein, mit den Geiern wirst du kämpfen, die mich zerfleischen wollen; die Sonne des Tags wird dich dörren, der Tau der Nacht dich feuchten, bis du hinfällest gleich mir – denn von mir lassen kannst du nun nicht mehr. Meinst du, das arme, törichte Ding, das auf den Bergen aufgewachsen ist, werde sieben Jahre wegwerfen wie einen Tag? Ich weiß, was sie mich gekostet haben, wie teuer sie waren und daß ich einen ehrlichen Preis zahle, wenn ich dich mit ihnen kaufen will. Dich in den Tod lassen? Es wäre zum Lachen. Wende dich nur weg von mir, du wirst es schon innwerden, daß ich dich zu mir zurückzwinge auf ewig. Denn in den Wein, den du heute getrunken, war ein Liebeszauber gemischt, dem noch kein Mensch unter der Sonne widerstanden hat!”

Sie sah königlich aus, als sie diese Worte rief, den Arm nach ihm ausgestreckt, als hielte ihre Hand einen Szepter über einem, der ihr verfallen sei. Er aber lachte trotzig auf und rief: “Dein Liebeszauber leistet dir schlechte Dienste, denn ich habe dich nie mehr gehaßt als in diesem Augenblick. Aber ich bin ein Narr, eine Närrin zu hassen. Möge es dich, wie von dem Wahn, so auch von der Liebe heilen, wenn du mich nicht widersiehst. Ich brauche deine Führung nicht. Ich sehe da drüben am Abhang eine Hirtenhütte und die Herde umher. Ein Feuer blinkt herauf. Man wird mich dort wohl zurechtweisen. Lebe wohl, arme Schlange, lebe wohl!”

Sie antwortete nichts, als er ging, und setzte sich ruhig in den

Schatten eines Felsens neben der Schlucht, in das dunkle Grün der Tannen, die unten am Bache wurzelten, ihre großen Augen versenkend.

* * *

Er war noch nicht lange von ihr gegangen, als er sich pfadlos zwischen Klippen und Gebüsch befand; denn wie sehr er sich's verleugnen mochte, hatten doch die Worte des wunderbaren Mädchens eine beunruhigende Wirkung auf sein Herz ausgeübt und all seine Gedanken nach innen gekehrt. Indessen sah er gegenüber auf der Matte noch immer das Hirtenfeuer und arbeitete sich rüstig durch, damit er nur erst die Tiefe erreichte. Er rechnete nach dem Stande der Sonne, daß es gegen die zehnte Stunde sein mußte. Wie er aber die Bergsteile hinabgeklettert war, fand er unten einen sonnenlosen Weg und bald auch einen Steg über einen neuen Wildbach, der auf der andern Seite hinaufzuführen und endlich an der Matte auszumünden versprach. Er verfolgte ihn, und der Weg lief anfangs steil hinan, dann aber in großer Windung eben am Berge hin. Er sah wohl, daß er ihn nicht zunächst zu seinem Ziele bringen würde; aber in geraderer Richtung hingen unüberwindlich jähe Felsstücke vor, und wollte er nicht zurück, mußte er sich schon seinem Wege vertrauen. Nun schritt er rasch und anfangs wie aus Banden erlöst dahin und spähte zuweilen nach der Hütte aus, die sich immer noch zurückzog. Nach und nach, wie sein Blut gelinder floß, fielen ihm alle Einzelheiten des eben erlebten Auftrittes wieder ein. Das schöne Mädchenbild sah er leibhaftig vor sich, und nicht wie zuvor durch den Nebel seines Jähzorns. Er konnte sich eines tiefen Mitleidens nicht erwehren. 'Nun sitzt sie droben', sagte er vor sich hin, 'die arme Irre, und baut auf ihre Zauberkünste. Darum also verließ sie in Nacht und Mondschein gestern die Hütte, um wer weiß welch ein harmloses Kraut zu pflücken. Jawohl; wiesen mir nicht auch meine braven Contrabbandieri die sonderbaren weißen Blüten zwischen den Felsen und sagten, das sei mächtig für Gegenliebe? Unschuldiges Gewächs, was sie dir nachsagen! – Und darum war mir der Wein so bitter auf der Zunge. Wird doch das Kindische je älter, desto stärker und ehrwürdiger. – Wie eine Sibylle stand sie vor mir, so wahrheitsgewiß, wie schwerlich jene römische, die ihre Bücher ins Feuer warf. Armes Weiberherz, wie schön und elend macht dich dein Wahn!'

Je weiter er ging, um so stärker fühlte er die rührende Herrlichkeit ihrer Liebe und die Gewalt ihrer Schönheit, die ihm die Trennung nur noch verklärte. 'Ich hätte es sie nicht entgelten lassen sollen, daß sie mich im besten Glauben, mich zu retten, von meinen unabwendbaren Pflichten

losmachen will. Ich hätte ihr die Hand geben sollen und sagen: Ich habe dich lieb, Fenice, und wenn ich leben bleibe, komme ich zu dir zurück und hole dich heim. Wie blind war ich, daß mir diese Auskunft nicht einfiel! eine Schande für den Advokaten! Ich hätte mit Küssen wie ein Bräutigam Abschied nehmen sollen, so hätte sie kein Arg gehabt, daß ich sie täuschte. Statt dessen hab' ich gerade durch gewollt mit dem Trotzkopf und alles verschlimmert.'

Nun vertiefte er sich in das Bild eines solchen Abschiedes und meinte ihren Atem zu fühlen und den Druck der frischen Lippen auf den seinen. Es war ihm, als hörte er seinen Namen rufen. "Fenice!" antwortete er inbrünstig und stand mit heftig klopfendem Herzen still. Der Bach rauschte unter ihm, die Zweige der Tannen hingen ohne Bewegung, weit und breit schattige Wildnis.

Schon war ihm der Name wieder auf den Lippen, als ihm noch zur rechten Zeit die Scham den Mund versiegelte. Scham und ein Grauen zugleich. Er schlug sich vor die Stirn. "Ist es schon soweit mit mir, daß ich im Wachen von ihr träume?" rief er. "Soll sie Recht behalten, daß diesem Zauber kein Mensch unter der Sonne widerstehen kann? So wäre ich nichts Besseres, als sie aus mir zu machen gedachte, wert, ein Weiberknecht zu heißen mein Lebenlang. Nein, in die Hölle mit dir, schöne betrogene Teufelin!"

Er hatte für den Augenblick seine Fassung wieder, aber er sah nun auch, daß er von dem Wege völlig in der Irre herumgeführt war. Zurück konnte er nicht, wenn er der Gefahr nicht in die Arme laufen wollte. So beschloß er, jetzt um jeden Preis wieder eine Höhe zu erreichen, von der er sich nach der verlorenen Hirtenstelle umschauen könnte. Das eine Ufer des tief unten rauschenden Bachs, an dem er ging, war allzu jäh. Also schlang er den Mantel über den Nacken, wählte eine sichere Stelle und war mit einem Sprung an der andern Seite der Kluft, deren Wände hier dicht zusammentraten. Mit besserem Mut erklomm er den Abhang drüben und erreichte bald die Sonne.

Sie sengte schwer sein Haupt, und die Zunge lechzte ihm, als er sich mit großer Anstrengung emporarbeitete. Jetzt überfiel ihn auf einmal die Angst, daß er dennoch mit allen Mühen das Ziel nicht mehr erreichen möchte. Das Blut stieg ihm mehr und mehr zu Kopf, er schalt auf den Teufelswein, den er am Morgen hinuntergestürzt, und wieder mußte er an die weißen Blüten denken, die man ihm gestern unterwegs gezeigt. Hier wuchsen sie wieder – ihm schauderte die Haut. 'Wenn es doch wahr wäre', dachte er, 'wenn es Kräfte gäbe, die unser Herz und unsre Sinne bemeistern und einen Manneswillen unter die Laune eines Mädchens beugen könnten – lieber das Äußerste als diesen Schimpf! lieber Tod als Knechtschaft! Aber nein, nein! Nur den bezwingt die Lüge, der an sie

glaubt. Sei ein Mann, Filippo, vorwärts, da ist die Höhe vor dir; noch eine kurze Frist – und dies maledite⁵⁷ Gebirge mit seinem Spuk liegt für immer hinter dir!’

Und dennoch konnte er das Fieber in seinem Blut nicht besänftigen. Jeder Stein, jede schlüpfrige Stelle, jeder vor ihm hängende starre Tannenzweig war ihm ein Widerstand, den er mit unverhältnismäßigem Aufbieten des Willens gewaltsam besiegte. Als er endlich oben, sich an den letzten Büschen haltend, ankam und mit einem Schwung die Höhe gewann, konnte er erst nicht um sich sehen, so war ihm das Blut in die Augen geschossen und so plötzlich blendete ihn die Sonne von den gelben Felsen ringsum. Wütend rieb er sich die Stirn und fuhr sich durch das verworrene Haar, den Hut lüftend. Da aber hörte er wahrlich wieder seinen Namen und starrte entsetzt nach der Stelle, von wo man rief. Und wenige Schritte ihm gegenüber, am Felsen, wie er sie verlassen, saß Fenice und sah ihn mit stillen, glücklichen Augen an.

“Kommst du endlich, Filippo!” sagte sie innig. “Ich habe dich schon früher erwartet.”

“Gespenst der Hölle”, schrie er außer sich, während Grausen und alle Leidenschaften der Sehnsucht sich in ihm bekämpften, “höhnst du mich noch, da ich mit Qualen in der Irre laufe und die Sonne mir alles Hirn schmilzt? Triumphierst du, daß ich dich noch einmal sehen muß, um dich noch einmal zu verfluchen? Wenn ich dich gefunden habe, beim allmächtigen Gott, so hab’ ich dich doch nicht gesucht, und du sollst mich dennoch verlieren.”

Sie schüttelte seltsam lächelnd den Kopf. “Es zieht dich, ohne daß du’s weißt”, sagte sie. “Du fändest mich, wenn alle Berge der Welt zwischen uns wären, denn ich mischte sieben Tropfen von dem Herzblut des Hundes in deinen Wein. Armer Fuoco! Er liebte mich und haßte dich. So wirst du den Filippo hassen, der du früher warst, als du mich verstießest, und nur ruhig sein in dir, wenn du mich liebst. Filippo, siehst du nun, daß ich endlich dich erobert habe? Komm, nun will ich dir wieder die Wege zeigen, nach Genua zu, mein Geliebter, mein Mann, mein Holder!”

Damit stand sie auf und wollte mit beiden Armen ihn umfassen, als sie plötzlich vor seinem Gesicht erschrak. Er war wie mit einem Schlage totenblaß geworden, nur das Weiße in seinen Augen rot, seine Lippen bewegten sich lautlos, der Hut war vom Haupt gefallen, mit den Händen wehrte er heftig jede Annäherung ab.

“Ein Hund! ein Hund!” waren die ersten mühsam vorbrechenden Worte. “Nein, nein, nein! du sollst nicht siegen – Dämon! Besser ein toter Mann als ein lebendiger Hund!” – Darauf erscholl ein furchtbares Lachen von seinen Lippen, und langsam, wie wenn er sich gewaltsam jeden

Schritt erkämpfte, die Augen stier auf das Mädchen geheftet, wich er taumelnd zurück und stürzte rücklings in die Schlucht hinab, die er eben verlassen hatte.

Vor ihren Augen wurde es Nacht, mit beiden Händen fuhr sie sich ans Herz und stieß einen Schrei aus, der wie ein Falkenschrei über die Schlucht klang, als sie die hohe Gestalt hinter dem Rande des Felsens verschwinden sah. Ein paar wankende Schritte tat sie, dann stand sie fest und aufrecht, immer die Hände gegen das Herz gepreßt. „Madonna!“ sagte sie, ohne etwas zu denken. Immer vor sich niedersehend, näherte sie sich jetzt rasch der Schlucht und begann die steinige Wand zwischen den Tannen hinabzuklimmen. Worte ohne Sinn murmelten ihre heftig atmenden Lippen, mit der einen Hand hielt sie das Herz fest, mit der andern half sie sich an den Steinen und Zweigen hinab. So kam sie bis an die Wurzeln der Tannen – da lag er. Er hatte die Augen geschlossen, Stirn und Haar von Blut überströmt, den Rücken wider einen Stamm gelehnt. Der Rock war zerrissen, und das rechte Bein schien auch verwundet. Ob er lebe, konnte sie nicht unterscheiden. Sie lud ihn auf ihre beiden Arme, da empfand sie, daß er sich noch regte. Der Mantel, den er über den Schultern dicht gefaltet trug, schien die Gewalt des Falles gebrochen zu haben. „Gelobt sei Jesus!“ sagte sie aufatmend. Es war, als wüchsen ihr Riesenkräfte, wie sie, den hilflosen Mann an ihrer Brust, die Steile wieder hinaufzuklimmen begann. Es dauerte lange, viermal legte sie ihn nieder zwischen Moos und Felsen, noch immer schlief das Leben in ihm.

Als sie endlich auf der Höhe war mit ihrer unseligen Last, brach sie selber in die Knie und lag einen Moment in völliger Vergessenheit und Ohnmacht. Dann stand sie auf und entfernte sich nach der Richtung, in der die Hütte des Hirten lag. Als sie hinlänglich nahe war, ließ sie einen gellenden Ruf über die Weite des Tals erschallen. Das Echo antwortete zuerst, bald eine Menschenstimme. Sie rief zum zweitenmal und wandte sich dann, ohne die Antwort abzuwarten. Als sie wieder bei dem leblosen Mann anlangte, stöhnte sie heftig auf und trug ihn dann in den Schatten des Felsens, wo sie selbst vorher gesessen und ihn erwartet hatte.

Dort fand er sich noch, als ihm das Bewußtsein schwach zurückkehrte und er die Augen zuerst wieder aufschlug. Er sah zwei Hirten neben sich, einen Alten und einen Burschen von siebzehn Jahren. Sie sprengten ihm Wasser ins Gesicht und rieben ihm die Schläfe. Sein Kopf ruhte weich, er wußte nicht, daß er auf dem Schoß des Mädchens lag.

Er schien sie überhaupt ganz vergessen zu haben. Er tat einen Atemzug, der ihn bis in die Fußspitzen erschütterte, und schloß dann wieder die Augen. Endlich bat er mit stockender Stimme: „Einer von euch, brave Leute, möge hinuntergehen – rasch, nach Pistoja. Man wartet auf

mich. Gottes Barmherzigkeit lohne es dem, der dem Wirt zur Fortuna⁵⁸ sagt – wie es um mich steht. Ich heiße –“, da schwanden ihm wieder Stimme und Bewußtsein.

“Ich werde gehen“, sagte das Mädchen, “Ihr tragt den Herrn indessen nach Treppi und legt ihn in das Bett, das die Nina euch zeigen wird. Sie soll die Chiarucci anrufen, die Alte, und den Herrn von ihr heilen und verbinden lassen. Hebt ihn auf, du an den Schultern, Tommaso; du, Bippo, an den Beinen. Wenn ihr bergan geht, mußt du voran, Tommaso. So, hebt ihn! Sanft, sanft! Und halt – das taucht ihr in Wasser und legt es auf seine Stirn und netzt es wieder an jeder Quelle. Habt ihr verstanden?”

Sie riß ein großes Stück von ihrem leinenen Kopftuch herunter, tauchte es ein und wand es um die blutigen Haare Filippas. Dann ward er aufgehoben, die Männer trugen ihn nach Treppi zu, und das Mädchen, nachdem es ihnen mit völlig erloschenen Blicken nachgesehen, schürzte sich hastig und stieg auf rauen Pfaden das Gebirg hinab.

* * *

Es war gegen drei Uhr nachmittags, als sie Pistoja erreichte. Die Schenke zur Fortuna lag einige hundert Schritte vor der Stadt, und zu dieser Stunde der Siesta war wenig Leben in ihr. Im Schatten des weiten Vordachs standen ausgeschilderte Wagen, die Fuhrleute schliefen auf den Polstern, in der großen Schmiede gegenüber ruhte die Arbeit, und durch die dickbestaubten Bäume längs der Landstraße rührte sich kein Luftzug. Fenice trat an den Brunnen vor dem Hause, dessen Strahl, allein geschäftig, in den großen Steintrog niederrauschte, und erfrischte sich Hände und Gesicht. Dann trank sie langsam und lange, um Durst und Hunger zugleich zu dämpfen, und trat in die Schenke.

Der Wirt erhob sich schläfrig von der Bank in der Schenkstube und legte sich wieder hin, als er sah, daß es ein Mädchen von den Bergen war, die seine Ruhe störte.

“Was willst du?” fuhr er sie an. “Wenn du zu essen haben willst oder Wein, geh in die Küche.”

“Ihr seid der Wirt?” fragte sie ruhig.

“Wer anders als ich? Man kennt mich, sollt’ ich denken: Baldassare Tizzi von der Fortuna. Was bringst du mir, schöne Tochter?”

“Eine Botschaft vom Signor Avvocato Filippo Mannini.”

“Eh, eh, ist’s das? Ja, das ist freilich was anders“, und er stand eilig auf. “Kommt er nicht selber, Kind? Es sind Herren da, die ihn erwarten.”

“So bringt mich zu ihnen.”

“Ei, ei, die Heimliche! darf man nicht wissen, was er den Herren

sagen läßt?”

“Nein.”

“Nun, nun, schon gut, Kind, schon gut. Es hat jeder seine eigenen Geheimnisse, dieser hübsche Trotzkepp da so gut wie der harte Schädel des alten Baldassare. Eh, eh, er kommt also nicht; das wird den Herren sehr unangenehm sein; sie scheinen wichtige Geschäfte mit ihm zu haben.”

Er schwieg und sah das Mädchen blinzeln von der Seite an. Als sie aber nicht Miene machte, ihn weiter ins Vertrauen zu ziehen, sondern die Tür öffnete, stülpte er den Strohhut auf und ging kopfschütteln mit ihr.

Ein kleiner Weingarten lag hinter dem Hofe, den durchschritten sie, der Alte in fortwährenden Fragen und Ausrufungen, auf die das Mädchen keine Silbe erwiderte. Am Ende des mittelsten Laubenganges lag ein unscheinbares Gartenhaus, die Läden waren verschlossen, und innen hinter der Glastür hing ein dichter Vorhang herab. Einige Schritte vor diesem Pavillon hieß der Wirt Fenice stehenbleiben und ging allein nach der Tür, die auf sein Klopfen geöffnet wurde. Fenice sah, wie der Vorhang dann zurückgeschoben wurde und ein Paar Augen nach ihr heraussahen. Dann kam der Alte wieder zu ihr und sagte, daß die Herren sie sprechen wollten.

Als Fenice in den Pavillon trat, erhob sich ein Mann, der am Tisch mit dem Rücken nach der Tür gesessen hatte, und richtete einen durchdringenden kurzen Blick auf sie. Zwei andere blieben auf den Stühlen sitzen. Auf dem Tische sah sie Weinflaschen und Gläser.

“Der Signor Avvocato kommt nicht, wie er versprochen?” sagte der Mann, vor dem sie stand. “Wer bist du und was hast du zur Beglaubigung deiner Botschaft?”

“Eine Jungfrau aus Treppi bin ich, Fenice Cattaneo, Herr. Beglaubigung? Ich habe keine, als daß ich die Wahrheit sage.”

“Warum kommt der Signor Avvocato nicht? Wir dachten, er sei ein Ehrenmann.”

“Er ist es nicht minder, weil er einen Sturz vom Felsen getan und sich Stirn und Bein verwundet hat, das er das Bewußtsein verloren.”

Der Frager wechselte Blicke mit den andern Männern und sagte dann wieder:

“Du verrätst allerdings die Wahrheit, Fenice Cattaneo, weil du schlecht zu lügen verstehst. Wenn er das Bewußtsein verlor, wie kann er dich hieher schicken, es uns ansagen zu lassen?”

“Die Sprache kam ihm wieder auf Augenblicke. Da sagte er, daß er in der Fortuna erwartet werde; man solle es dort zu wissen tun, was ihm begegnet.”

Ein trocknes Lachen ward von einem der andern Männer hörbar. "Du siehst", sagte der Sprecher, "auch diese Herren hier glauben nicht sonderlich an dein Märchen. Es ist freilich bequemer, den Poeten zu machen als den Ehrenmann."

"Wenn das heißen soll, Signor, daß Signor Filippo aus Feigheit nicht hergekommen ist, so ist dies eine abscheuliche Lüge, die Euch der Himmel anrechnen möge", sagte sie fest und sah alle drei nach der Reihe an.

"Du wirst warm, Kleine", höhnte der Mann. "Du bist wohl die gute Freundin des Herrn Avvocato, he?"

"Nein, die Madonna weiß es!" sagte sie mit ihrer tiefsten Stimme. Die Männer flüsterten untereinander, und sie hörte, wie einer sagte: "Das Nest ist noch toscanisch." – "Ihr glaubt doch nicht im Ernst an diese Schliche?" fiel ihm der dritte ein. "Der liegt sowenig in Treppi wie –"

"Kommt und seht ihn selbst!" unterbrach Fenice das Geflüster. "Aber Waffen dürft ihr nicht tragen, wenn ich euch führen soll."

"Närrchen", sagte der erste Sprecher, "meinst du, daß wir einer so schmucken Kreatur, wie du bist, ans Leben wollen?"

"Nein, aber ihm; ich weiß es."

"Hast du sonst noch etwas dir auszubedingen, Fenice Cattaneo?"

"Ja, daß ein Wundarzt mitgehe. Ist er schon unter euch, Signori?"

Sie erhielt keine Antwort. Statt dessen steckten die drei Männer die Köpfe zusammen. "Als wir kamen, sah ich ihn zufällig vorn im Hause; hoffentlich ist er noch nicht nach der Stadt zurück", sagte der eine und verließ dann den Pavillon. Er kam nach kurzer Zeit mit einem vierten wieder, der die Gesellschaft nicht zu kennen schien.

"Ihr erweist uns wohl die Gefälligkeit, mit uns nach Treppi hinaufzugehn?" redete ihn der Sprecher an. "Man wird Euch inzwischen unterrichtet haben, um was es sich handelt."

Der andere verneigte sich schweigend, und alle verließen den Pavillon. Als sie an der Küche vorbeigingen, ließ sich Fenice ein Brot geben und nahm einige Bissen davon. Dann ging sie wieder der Gesellschaft voran und schlug den Weg in die Berge ein. Sie gab unterwegs nicht acht auf ihre Begleiter, die eifrig miteinander redeten, sondern eilte, soviel sie konnte, und mußte zuweilen angerufen werden, damit man sie nicht aus den Augen verlor. Dann stand sie und wartete und sah in hoffnungslosem Brüten ins Leere hinaus, die Hand fest ans Herz gepreßt. So ward es Abend, bis sie die Höhen erreichten.

Das Dorf Treppi sah nicht lebendiger aus als gewöhnlich. Nur einige Kindergesichter fuhren neugierig an die offenen Fenster, und einige Weiber traten unter die Türen, als Fenice mit ihrer Begleitung vorüberging. Sie sprach mit niemand, sondern näherte sich, den Nachbarn

ihren Gruß mit kurzem Händewinken erwidern, ihrem Hause. Hier stand eine Gruppe von Männern im Gespräch vor der Tür, Knechte waren mit gepackten Pferden beschäftigt, und Contrabbandieri gingen ab und zu. Als man die Fremden kommen sah, wurde es still unter den Leuten. Sie traten beiseit und ließen die Gesellschaft vorüber. Fenice wechselte einige Worte mit Nina in dem großen Gemach und öffnete dann die Tür ihrer Kammer.

Man sah drin in der Dämmerung den Verwundeten auf dem Bett ausgestreckt, neben ihm auf der Erde hockend ein uraltes Weib aus Treppi.

“Wie steht’s, Chiaruccia?” fragte Fenice.

“Nicht schlecht, die Madonna sei gepriesen!” antwortete die Alte und musterte mit raschen Blicken die Herren, die hinter dem Mädchen eintraten.

Filippo fuhr aus einem Halbschlaf auf, und sein blasses Gesicht glühte plötzlich. “Du bist’s!” sagte er.

“Ja, ich bringe den Herrn, mit dem Ihr den Kampf vorhattet, damit er selbst sehe, daß Ihr nicht kommen konntet. Und da ist auch ein Wundarzt.”

Das matte Auge des Liegenden glitt langsam über die vier fremden Gesichter. “Er ist nicht darunter”, sagte er. “Ich kenne keinen von diesen Herren.”

Als er das gesprochen und schon wieder das Auge schließen wollte, trat der Sprecher unter den dreien vor und sagte: “Es genügt, daß man Euch kennt, Signor Filippo Mannini. Wir hatten Befehl, Euch zu erwarten und zu verhaften. Es sind Briefe von Euch aufgefangen, aus denen hervorgeht, daß Ihr nicht allein um das Duell auszumachen Toscana wieder betreten habt, sondern um gewisse Verbindungen wieder anzuknüpfen, die Eurer Partei in Bologna Vorschub leisten sollen. Ihr seht den Kommissär der Polizei vor Euch, und hier meine Instruktion.”

Er zog ein Blatt aus der Tasche und hielt es Filippo vors Gesicht. Der aber starrte darauf, als habe er von allem nichts verstanden, und fiel wieder in seine schlafähnliche Betäubung zurück.

“Untersucht die Wunden, Herr Dottore”, wandte sich nun der Kommissär an den Arzt. “Wenn der Zustand es irgend erlaubt, müssen wir diesen Herrn unverzüglich hinunterschaffen. Ich habe draußen Pferde gesehn. Wir tun zwei gesetzliche Taten auf einmal, wenn wir uns derselben bemächtigen, denn sie sind mit Schleichwaren beladen. Es ist gut, daß man weiß, welches Volk dies Treppi besucht, wenn man es einmal wissen *will*.”

Während er dies sagte und der Arzt sich Filippo näherte, war Fenice aus der Kammer verschwunden. Die alte Chiaruccia blieb ruhig sitzen und murmelte vor sich hin. Man hörte Stimmen draußen und eine seltsame Unruhe von Kommenden und Gehenden, und zu dem Mauerloch

sahen Gesichter herein, die rasch wieder verschwanden. – “Es ist möglich”, sagte jetzt der Wundarzt, “daß wir ihn hinunterschaffen, wenn er fest und doppelt verbunden ist. Schneller würde er freilich wieder aufkommen, ließe man ihn hier in der Ruhe und in der Pflege dieser alten Hexe, deren Wundkräuter den besten gelernten Arzt zuschanden machen. Es kann das Wundfieber unterwegs ihm ans Leben treten, und eine Verantwortung übernehme ich keinesfalls, Signor Commissario.”

“Unnötig, unnötig”, erwiderte der andere. “Wie man ihn los wird, kann nicht in Betracht kommen. Legt ihm Euern Verband an, so fest Ihr vermögt, damit nichts versäumt werde, und dann vorwärts. Wir haben Mondschein und nehmen einen Burschen mit. Geht indessen hinaus, Molza, und versichert Euch der Pferde.”

Der eine der Sbirren,⁵⁹ dem dieser Befehl galt, öffnete rasch die Kammertür und wollte hinaus, als ein unerwarteter Anblick ihn versteinerte. Das Gemach nebenan war mit einer Schar von Dorfleuten besetzt, an deren Spitze zwei Contrabbandieri standen. Fenice hatte noch mit ihnen gesprochen, als die Tür sich öffnete. Nun trat sie an die Schwelle der Kammer und sagte mit großem Nachdruck:

“Ihr verlaßt diese Kammer unverzüglich, Signori, und ohne den Verwundeten, oder ihr seht Pistoja nicht wieder. In diesem Hause ist noch kein Blut geflossen, solange Fenice Cattaneo seine Herrin ist, und die Madonna verhüte solchen Greuel in alle Zukunft. Versucht auch nicht wiederzukommen, etwa mit mehreren. Ihr habt die Stelle noch im Sinn, wo man einzeln die Felstreppe zwischen den Wänden hinaufklimmt. Ein Kind kann diesen Paß verteidigen, wenn es die Steine den Abhang herabrollt, die droben gesät liegen. Wir werden dort eine Wache stellen, bis dieser Herr in Sicherheit ist. Nun geht und rühmt euch der Heldentat, daß ihr ein Mädchen betrogen habt und einen verwundeten Mann ermorden wolltet.”

Die Gesichter der Sbirren entfärbten sich mehr und mehr, und es entstand eine Pause nach den letzten Worten. Dann zogen alle drei wie auf Kommando bisher verborgene Pistolen aus der Tasche, und der Kommissär sagte kaltblütig: “Wir kommen im Namen des Gesetzes. Wenn ihr selbst es nicht respektiert, wollt ihr auch noch andere hindern, es zu vollziehen? Es kann sechsen von euch das Leben kosten, wenn ihr uns zwingt, dem Gesetz mit Gewalt Achtung zu verschaffen.”

Ein Murren durchlief die Schar der andern. “Still, Freunde!” rief das entschlossene Mädchen. “Sie wagen es nicht. Sie wissen, daß jeder, den sie erschießen, dem Mörder einen sechsfachen Tod einbringt. Ihr redet wie ein Tor”, wandte sie sich wieder an den Kommissär. “Die Furcht, die auf euern Stirnen sitzt, redet wenigstens klüger. Tut, was sie euch anrät. Der Weg ist offen, Signori!”

Sie trat zurück und wies mit der Linken nach der Tür des Hauses. Die in der Kammer flüsterten wenige Worte zusammen, dann schritten sie mit leidlicher Haltung durch die aufgeregte Schar, die ihnen immer lautere und lautere Verwünschungen mit auf den Weg gab. Der Wundarzt war unschlüssig, ob er folgen dürfe; aber auf einen gebieterischen Wink des Mädchens schloß er sich seinen Begleitern eilfertig an.

Diese ganze Szene hatte der Kranke in der Kammer halb aufgerichtet mit großen Augen mitangesehn. Jetzt trat die Alte wieder zu ihm und rückte ihm das Kissen. "Still liegen, mein Sohn!" sagte sie. "Es ist keine Gefahr. Schlafen, schlafen, armer Sohn! die alte Chiaruccia wacht, und daß Ihr sicher seid, dafür sorgt unsere Fenice, das benedeite Kind! Schlaft; schlaft!"

Sie sumnte ihn dann mit eintönigen Liedern ein wie ein Kind. Er aber nahm den Namen Fenice mit in seine Träume.

Filippo war zehn Tage droben im Gebirg und in der Pflege der Alten, schlief viel in den Nächten und genoß am Tage, vor der Tür sitzend, die reine Luft und die Einsamkeit. Sobald er wieder schreiben konnte, schickte er einen Boten mit einem Brief nach Bologna und erhielt am andern Tage Antwort, ob erwünscht oder unerwünscht, war auf seinem blassen Gesicht nicht zu lesen. Außer mit seiner Pflegerin und den Kindern von Treppi sprach er mit niemand, und Fenice sah er nur des Abends, wenn sie am Herde schaltete. Denn sie verließ das Haus mit Sonnenaufgang und blieb über Tag im Gebirg. Das war sonst anders gewesen, wie er aus zufälligen Äußerungen entnahm. Aber auch wenn sie zu Hause war, fand sich nie eine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Sie tat überhaupt, als merke sie seine Anwesenheit gar nicht, und schien das Leben wie früher zu tragen. Doch war ihr Gesicht wie steinern geworden und ihre Augen wie erstorben.

Als Filippo eines Tages, von dem herrlichen Wetter gelockt, weiter als sonst sich vom Hause entfernte und zum erstenmal wieder im Gefühl neuer Kraft eine sanfte Höhe hinabstieg, erschrak er, als er um einen Felsen bog und unerwartet Fenice im Moos neben einer Quelle sitzen sah. Sie hatte Wocken und Spindel in Händen und schien während des Spinnens sehr in sich vertieft. Bei Philippos Schritten sah sie auf, sprach aber kein Wort, noch veränderte sich der Ausdruck ihres Gesichts, und rasch erhob sie sich samt ihrem Gerät. Dann ging sie, ohne auf seinen Ruf zu achten, davon und war ihm bald aus den Augen.

Am Morgen nach dieser Begegnung war er eben aufgestanden, und seine ersten Gedanken gingen wieder zu ihr, als die Tür seiner Kammer geöffnet wurde und das Mädchen ruhig zu ihm eintrat. Sie blieb an der Schwelle stehen und winkte ihm gebieterisch mit der Hand, als er vom Fenster ihr näher eilen wollte.

“Ihr seid wieder geheilt”, sagte sie kalt. “Ich habe mit der Alten gesprochen. Sie meint, Ihr hättet wieder die Kraft zu reisen, in kleinen Tagereisen und zu Pferde. Ihr werdet morgen früh Treppi verlassen und nie dahin zurückkehren. Dies Versprechen fordere ich von Euch.”

“Ich verspreche es, Fenice, unter einer Bedingung.”

Sie schwieg.

“Daß du mit mir gehst, Fenice!” sprach er in großer, unverhaltener Bewegung.

Ein dunkler Zorn überflog ihre Brauen. Doch hielt sie an sich und sagte, den Türgriff fassend: “Womit habe ich Spott verdient? Ihr versprecht es ohne Bedingung, von Eurer *Ehre* erwarte ich’s, Signor.”

“Willst du mich so verstoßen, nachdem du mir den Liebestrank bis ins innerste Mark gefloßt und mich für immer dir zu eigen gemacht hast, Fenice?”

Sie schüttelte ruhig das Haupt. “Es ist hinfort kein Zauber mehr zwischen uns”, sagte sie dumpf. “Ihr habt Blut verloren, ehe der Trank gewirkt hatte, der Bann ist gelöst. Und es ist gut so, denn ich habe Unrecht getan. Laßt uns nicht mehr davon reden und sagt nur, daß Ihr gehen werdet. Ein Pferd wird bereit sein und ein Führer, wohin Ihr wollt.”

“Wenn es denn dieser Zauber nicht mehr sein kann, der mich an dich bindet, so muß es wohl ein anderer sein, für den du nicht kannst, Mädchen. So wahr mir Gott gnade –”

“Still!” unterbrach sie ihn und schürzte finster die Lippe. “Ich bin taub für solche Worte, wie Ihr sie sagen wollt. Wenn Ihr meint, mir etwas schuldig zu sein, und Euch mein Erbarmen möchtet – so geht, und die Rechnung ist damit ausgeglichen. Ihr sollt nicht denken, daß dieser mein armer Kopf nichts lernen kann. Ich weiß jetzt, daß man einen Menschen nicht erkaufen kann, sowenig mit armseligen Diensten, die sich von selbst verstehen, als mit sieben Jahren des Wartens – die sich auch von selbst verstehen vor Gott. Ihr sollt nicht denken, daß Ihr mich elend gemacht habt – Ihr habt mich geheilt! Geht! und nehmt meinen Dank mit Euch!”

“Antworte mir vor Gott!” rief er außer sich und trat ihr näher, “habe ich dich auch geheilt von deiner *Liebe*?”

“Nein”, sagte sie fest. “Was fragt Ihr danach? Sie ist mein, Ihr habt kein Recht und keine Macht über sie. Geht!”

Damit trat sie zurück und über die Schwelle. Im nächsten Augenblicke lag er hingestürzt auf den Steinen zu ihren Füßen und umfaßte ihre Knie.

“Wenn es wahr ist, was du sagst”, rief er im höchsten Schmerz, “so rette mich, so nimm mich an, nimm mich auf zu dir, oder dieser Kopf, den ein Wunder in seiner Fugen erhalten hat, wird in Scherben gehen samt diesem Herzen, das du verstoßen willst. Meine Welt ist leer, mein Leben

eine Beute des Hasses, meine alte und meine neue Heimat verbannt mich, was soll ich noch leben, wenn ich auch dich verlieren muß!”

Da sah er auf zu ihr und sah aus den geschlossenen Augen helle Ströme brechen. Noch war ihr Antlitz regungslos, dann atmete sie tief auf, ihre Augen öffneten sich, ihre Lippen bewegten sich, noch ohne Worte; das Leben blühte wie auf einen Schlag in ihr auf. Sie beugte sich herab zu ihm, ihre kräftigen Arme hoben ihn auf – “Du bist mein!” sagte sie bebend. “So will ich dein sein!”

* * *

Als die Sonne des andern Tages aufging, sah sie das Paar auf dem Wege nach Genua, wohin Filippo vor den Nachstellungen seiner Feinde sich zurückzuziehen beschlossen hatte. Der hohe blasse Mann ritt auf einem sicheren Pferde, das seine Braut am Zügel führte. Zu beiden Seiten zogen sich Höhen und Gründe des schönen Apennin in der Klarheit des Herbstes, die Adler kreisten über den Schluchten, und fern blitzte das Meer. Und still und leuchtend, wie dort das Meer, lag vor den Wanderern die Zukunft.

1855

ANNINA

Es ist nur ein Abenteuer, was ich erzählen will, eines, dessen Knoten sich leicht und leichtsinnig schürzte, um plötzlich von der scharfen Sichel des Todes durchschnitten zu werden. Es wird nicht an solchen fehlen, denen dieser Schnitt zu jäh und heftig durchs Herz geht. Diese werden darüber klagen, daß die poetische Gerechtigkeit fehle, daß sie von einem solchen Schicksal ohne Versöhnung scheiden müssen. Mir aber scheint, daß der Tod, wenn er Jugend und Schönheit hinrafft, selbst zum Dichter wird, der das Vollkommene in unserm Andenken verewigt und das Liebenswürdige vor dem Raub der Zeit beschützt. Das Leben ist roh und gewaltsam. Über kurz oder lang zwingt es auch die zarteste Gestalt unter das harte Joch der irdischen Not und Notwehr. Der Tod, wenn er an die Jugend herantritt, lüftet ihr nur die Flügel, ehe sie geknickt werden. Wer sich nicht damit versöhnen kann, daß der Sturm im Frühling Blüten zu Tausenden von den Bäumen reißt, ehe sie Frucht angesetzt, der lasse diese Geschichte ungelesen.

Sie führt uns nach Rom, wo an einem sonnigen Nachmittage in der Mitte Oktobers ein junger deutscher Maler die Spanische Treppe zum ersten Male hinaufstieg und seine Schritte und die seines kleinen Hundes, den er an der Schnur führte, den Gartenanlagen auf der Höhe des Pinciohügels zulenkte. Erst gestern war er angekommen, hatte den Rest des Tages dazu benutzt, ein möglichst bescheidenes Obdach zu suchen, und war mit dem frühesten Morgen ausgegangen, wohin ihn die vielen hundert Meilen weit sein Herz gezogen hatte, zu den Stanzen Raffaels⁶⁰ im Vatikan und zur Decke der Sistina.⁶¹ Als er um Mittag auf den Platz vor Sankt Peter hinaustrat, war ihm schwindlig in Haupt und Herzen. Er setzte sich in den Schatten des einen der beiden großen Springbrunnen und ließ die Wolke des feuchten Sprühnebels über seine blonden Haare wehen. Nach und nach waren die letzten Besucher des Vatikans zu Fuß oder zu Wagen aus dem ungeheuren Ringe der Kolonnaden verschwunden, und der Einsame saß noch immer und spürte es nicht, daß sein dünnes Röckchen völlig durchnäßt wurde und aus seinen Locken große Tropfen auf die Steinplatten niederfielen. In ihm brannte das Nachgefühl dessen, was er gesehen hatte, mit einer großen, stillen Flamme fort und verzehrte alles gröbere irdische Empfinden.

Erst sein Hund störte ihn auf, den er am Morgen einem freundlichen alten Schneider in einem der nächsten Häuser in Verwahrung gegeben hatte. Dem armen Wicht war die Zeit länger geworden als seinem Herrn. Er hatte sich endlich durch einen kecken Ruck an seinem Stricke und durch einen Sprung zum Fenster hinaus befreit und kam nun mit

hellem Gewinsel auf den Jüngling zugesprungen. Dieser liebte ihn und erhob sich, nun erst inne werdend, daß sein Staubbad ihm gründlich an die Haut gegangen war.

Die Sonne, die hoch herabsengte, trocknete ihn bald und erinnerte ihn jetzt, daß es Mittagszeit war. Er seufzte, während er an den mancherlei Buden und Läden mit Eßwaren vorüberging, nicht so sehr um seinetwillen, als wegen seines treuen Reisegefährten, der mager und verschämt die schönen roten Schinken und Wurstgirlanden beim Pizzicarol⁶² betrachtete. Der Jüngling war seit Florenz, wo er das letzte Goldstück wechseln mußte, an den Hunger bereits gewöhnt und hatte, wenn er auf der beschwerlichen Fußwanderung seine Seele an Linien und Farben der wechselnden Landschaft weidete, sich willig mit einem Stück Brot und einigen Feigen begnügt. Aber am reichen Tische der Schönheit, an dem sein Herr schwelgte, fand der tierische Trieb des armen Hundes nicht seine Rechnung. Er begriff freilich, daß es schmale Zeiten waren, und fern war es von seiner treuen Seele, durch selbstsüchtiges Murren sich gegen das Schicksal aufzulehnen. Als aber die ganze Stadt durchwandert war, ohne daß sie irgendwo einkehrten, ward es ihm sauer, die Spanische Treppe hinaufzuklimmen, deren heiße Stufen ihm die Füße verbrannten. „Sei ruhig, Wackerlos“, sprach sein Herr ihm zu, der seine Gemütsstimmung wohl verstand; „wir werden heute nicht wieder hungrig zu Bette gehen. Wenn wir in unser Quartier kommen zu Signora Pia, wo wir trotz unseres schäbigen Aufzugs Kredit haben, laß ich dir aus dem Laden gegenüber eine jener schönen Würste holen, mit denen du schon zum Frühstück geliebäugelt hast. Nur noch ein wenig bezähme deine Begierden, armer Bursche, denn wir sind in Rom, mußt du wissen, wo schon ganz andere Ehrenmänner mit Freuden gehungert haben, wenn ihnen nur die Sonne Raffaels auf den leeren Teller schien.“

Er streichelte im Weiterschlendern den Kopf des Tieres, ward aber doch in sich gekehrt, als ihm der gute Gesell mit einer heißen, trocknen Zunge die Hand leckte. Daß es nicht lange so fortgehen könne, leuchtete ihm bei all seiner goldnen Sorglosigkeit ein. Von Hause, wo er gegen den Willen seines Vaters mit einer kümmerlich zusammengesparten Barschaft weggegangen war, hatte er nichts zu erwarten. Unter seinen Landsleuten in der großen Herberge aller Nationen kannte er niemand und wäre zu stolz gewesen, eine fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nun hatte zwar gestern schon seine Wirtin, die gleich beim ersten Blicke ein lebhaftes Interesse für seinen kindlichen Lockenkopf gezeigt hatte, ihr Bild bei ihm bestellen wollen, für ihren Mann, Sandro Carpacci, der seit zwei Jahren im Bagno⁶³ steckte, eines kleinen Messerstiches wegen. Aber der Zug von Zärtlichkeit in dem plumpen, von den Blättern zerrissenen Gesicht der Strohwitwe stieß ihn unsäglich ab. Und heut, wo seine Seele voll war von

dem Höchsten, was der Genius der Schönheit durch eine benedeite⁶⁴ Menschenhand offenbart hat, schwur er sich's feierlich zu, lieber sich mit seinem Hündchen vom Tarpejischen Felsen hinabzustürzen, als zu dieser Sünde gegen den Geist seiner großen Vorfahren die Hand zu bieten.

Während er so an einer der steinernen Brustwehren lehnte und der Reihe nach die Motive zu Bildern, die ihm auf der Reise eingefallen waren, für unzulänglich befand, auch nur den Saum am Gewande von Michelangelos Delphischer Sibylle⁶⁵ zu küssen, merkte er plötzlich, daß Wackerlos unruhig wurde und in ein scharfes, abgestoßenes Knurren ausbrach, ein Zeichen, daß er einen Feind in der Nähe witterte. Denn trotz seines ehrenrührigen Namens und seiner kleinen Figur, besaß er eine streitbare Seele und band selbst mit Größeren seines Geschlechtes unaufgefordert an, wofür seine zerfetzten Ohren und manche schadhafte Stelle seines schwarzen Fells Zeugnis ablegen konnten. Selbst der Hunger dämpfte seine Keckheit nicht. Und als er jetzt die großen Augen einer gewaltigen Dogge auf sich gerichtet fühlte, gab er durch jenes kühne Knurren und ein eifriges Zerren am Strick zu erkennen, daß es nicht an ihm liege, wenn man ungerauft auseinandergehe.

Auch die Dogge, obwohl sie keinen Laut von sich gab, schien geneigt, die Sache ernst zu nehmen. Sie wurde von einer jungen Römerin, die mit einer Freundin spazierenging, an einer leichten Kette geführt und hielt jetzt ihrerseits die beiden Mädchen an derselben fest, da es ihr schimpflich deuchte, die Herausforderung völlig zu überhören. Auf einmal stieß sie ein entschlossenes ingrimmiges Geheul aus und stürzte, ihre Herrin an der Kette mit sich fortreißend, auf den deutschen Händelsucher los, der alle Zähne zeigte und den Jüngling einige Schritte weit dem Feinde entgegenschleppte.

“Zurück, Rinaldo!” – “Ruhig, Wackerlos, ruhig!” rief das Mädchen drüben und der junge Mann hüben in demselben Augenblick. Aber schon hatten sich die Kämpfer gepackt, der kleine Deutsche war dem schwerfälligen Römer an die Ohren gesprungen, dieser wendete den Kopf und drohte mit dem mächtigen Gebiß dem Feinde in die Flanke zu fahren; der Jüngling zog am Strick, das Mädchen suchte die zarten Finger ängstlich aus der Kette zu lösen, die sie fester und fester einschnürte, und wer weiß, wie es ausgelaufen wäre, wenn nicht, wie durch einen Zauber, ein Geist des Friedens in die Kämpfenden gefahren wäre; plötzlich ließen sie voneinander ab, besahen und beschnüffelten sich mit großer Ehrerbietung und wechselten dann Zeichen des Einverständnisses, die nicht herzlicher hätten sein können. Rinaldo legte seine schwere gelbe Pfote nachdenklich auf Wackerlos' Rücken, Wackerlos leckte mit seiner heißen Zunge an dem breiten Messinghalsbande seines Freundes, und beide waren dergestalt in die neue Bekanntschaft vertieft, daß es

unmöglich gewesen wäre, sie zu trennen.

Auch machte die junge Römerin nur schwache Anstalten dazu und der junge Deutsche nicht die geringsten. Er sah immer nur auf das schöne Gesicht, das durch den lächerlichen Zufall ihm plötzlich aus der fremden Menge der Spaziergänger so nahe gerückt war und nun, in lieblicher Verwirrung glühend, seinen Blicken wohl oder übel stillhalten mußte. Sie trug einfache, aber zierliche Kleider, einen großen Florentiner Strohhut, schwere goldene Ringe in den Ohren. Nun hatte sie dem Fremden das Gesicht halb abgewendet, so daß er den reinsten Umriß, eben aufgeblüht, die Fülle der schwarzen Flechten, das blasse Hälschen unter dem schwellenden Kinn und die unvergleichliche Schlankheit der jugendlichen Gestalt bewundern konnte.

Endlich fiel ihm ein, daß es doch wohl an ihm sei, das Eis zu brechen, da sie noch immer nicht die Augen vom Boden aufzuheben wagte. „Fräulein“, sagte er in seinem besten Italienisch, „ich kann meinem ungezogenen Hündchen nicht böse sein, daß es Euch erschreckt und Euern Spaziergang wie ein Wegelagerer unterbrochen hat. Ich hätte ohne diese Einmischung der unvernünftigen Kreatur weder die Gelegenheit noch das Herz gehabt, Euch anzureden. Wenn es Euch nicht mißfällt, möchte ich um die Gunst bitten, einige Schritte neben Euch gehen zu dürfen, zumal es grausam wäre, die junge Freundschaft dort“ – er deutete auf die Hunde – „so früh wieder zu trennen.“

Das Mädchen erwiderte kein Wort, sah ihn aber mit einem glänzenden Auge flüchtig an, ob sie seinem Gesichte trauen dürfe. Während sie noch zu überlegen schien, ergriff ihre Begleiterin, ein lebhaftes, mutwilliges Geschöpf, das sich offenbar an der Verlegenheit der beiden ergötzt hatte, das Wort und sagte rasch: „Was sollen wir machen, Annina? Die Herren sind ja in der Mehrzahl, drei gegen uns zwei. Wir müssen schon abwarten, wann es Rinaldo gefällig sein wird, uns nach Hause zu begleiten. Im schlimmsten Fall, wenn er sich von seinem neuen Freunde durchaus nicht trennen will, entzweien wir sie künstlich mit einem guten Bissen. Oder seid Ihr vielleicht musikalisch, Signore? denn mit einer Canzone⁶⁶ kann man ihn jagen, und nun vollends mit einer deutschen.“

„Gott sei Dank, daß ich nicht singen kann“, sagte der Jüngling lachend, während die kleine Gesellschaft, die Hunde voran, sich in Bewegung setzte. „Aber woran merkt Ihr, daß ich ein Deutscher bin?“

„Nicht an Eurem Italienisch“, erwiderte die kleine Schwätzerin rasch. „Aber an Eurem Rotwerden, als Ihr das erste Wort zu Annina spracht. *Unsere* jungen Herren sind damit nicht so leicht bei der Hand, die Nichtsnutzigen! Aber ich habe einmal einen Deutschen gekannt, der viel älter war als Ihr, und dennoch rot wurde, als er mir – wie alt seid Ihr

eigentlich?”

“Zweiundzwanzig.”

“Und wie heißt Ihr?”

“In Deutschland wurde ich Hans genannt. Aber seit ich in Italien bin, übersetze ich den alten Hans in einen neuen Giovanni, der mir viel besser gefällt.”

Er sah zu Annina hinüber und bemerkte an der Bewegung ihrer stummen Lippen, daß sie sich im stillen bemühte, den fremden Namen nachzusprechen.

Dann gingen sie eine Weile schweigend nebeneinander her, in dem einsameren Teile des Gartens, wo sie von der Stadt nichts sahen, dagegen die Aussicht nach dem Sabiner Gebirge und der Campagna gewannen. Ein Balsam schwebte in der lauen Herbstluft, den sie alle mit langen Zügen tranken, und dabei, jeder auf seine Art, der wundersamen Fügung nachsannen, daß sie hier so vertraulich wie alte Bekannte miteinander sich des schönen Tages freuten. Im Kopfe der munteren Lalla jagte ein mutwilliger Gedanke den anderen. Sie neigte den Sonnenschirm dergestalt gegen den Jüngling, daß er ihre Gesichter nicht sehen konnte, und flüsterte der Freundin allerlei geheimnisvolle Dinge ins Ohr, wobei sie selbst immer ausgelassener ins Kichern und Lachen geriet, während Annina sich viel gesetzter betrug und offenbar ungehalten war, daß man dem Fremden nicht höflicher begegnete. Plötzlich wandte sich Lalla wieder zu diesem und fragte, ihn keck anblickend:

“Ihr habt ein Liebchen zu Hause gelassen, Signor Giovanni?”

“Das heiß’ ich ehrlich gefragt”, erwiderte Hans. “Und ebenso ehrlich soll die Antwort sein: Nein!”

“Aber Ihr tragt einen Ring am Finger?”

“Ich habe ihn von meiner Mutter.”

“Ei, das kann uns jeder weismachen wollen. Bei uns schenken die Mütter ihren Söhnen keine Ringe. Das überlassen sie anderen.”

“Meine Mutter schenkte ihn mir, als sie im Sterben lag. Ich soll ihn tragen, bis ich mich verlobe. Also wird es wohl noch ein Weilchen dauern.”

Wieder sah er zu Annina hinüber, die ernsthaft vor sich niederblickte. Er bemerkte jetzt erst einen Zug von schwermütiger Zerstreuung über ihren Brauen, etwas Leidsames, Träumerisches, das mit der zarten Jugendlichkeit des schönen Kindes nicht stimmen wollte. Er hätte viel darum gegeben, diese roten Lippen lachen zu sehen. Und so fing er an, da Lalla durch seine ernsthafte Antwort stumm geworden war, von seiner Reise zu erzählen, wobei er sich nicht schonte und allerlei drollige Abenteuer zum besten gab, die seine anfänglich geringe Kenntnis der Sprache, seine Arglosigkeit und die Gesellschaft seines Hündchens ihm

zugezogen hatten. Dann als die Stimmung sehr aufgetaut war, änderte er das Thema und sprach von der Schönheit des südlichen Landes und der Menschen, die es bewohnen. Lalla drängte ihn eifrig, zu sagen, wo ihm die Frauen am besten gefallen hätten. Er ließ sie alle die Musterung passieren, von den Lombardinnen, die seine Erwartung freilich getäuscht hatten, bis zu jenem Schwesternpaar in Radicofani, das er beim Scheine des Herdfeuers noch in später Nacht in sein Buch gezeichnet hatte. Da mußte er das Buch vorzeigen, und sie blätterten lange darin, auf einer Bank am Rande des Hügels sitzend, während er vor ihnen stand und zu den einzelnen Gesichtern Ort und Namen nannte und die kühnen Listen erzählte, mit denen er sich oft ein paar flüchtige Linien hatte erobern müssen. Wackerlos lag indes im Grase und schlief vor Mattigkeit, während Rinaldo neben ihm ruhte und seinen breiten Kopf bequem auf den Rücken des Freundes gelegt hatte. Aus der Ferne sangen die Vögel, und im Hohlwege unten zog ein Kärner vorbei, der sein Pferd mit Ritornellen zur Eile antrieb.

“Und hier in Rom?” fragte Lalla, als sie das letzte Blatt umgeschlagen hatte und das Buch nun auf Anninas Schoß ruhte.

“Ich bin erst gestern angekommen”, erwiderte der Jüngling. “Doch bin ich schon einem Gesichte begegnet, das alle, die ich bisher gesehen, an Adel und Anmut übertrifft. Wenn es mir so gut würde, nur einmal eine Stunde lang diese Züge studieren und nachzeichnen zu dürfen, wäre ich ein glücklicher Mensch.”

Er sah dabei absichtlich von Annina weg, die eifrig in dem Skizzenbuche blätterte.

“Und kennt Ihr diesen Phönix von Schönheit bei Namen?” fragte die Mutwillige mit einem leidlich unschuldigen Gesicht. “Oder verrätet Ihr Eure Geheimnisse gewöhnlich nur durch Erröten?”

“Was würde es mir helfen”, sagte er mit klopfendem Herzen, “wenn ich den Namen ausspräche! Ich bin ihr dennoch ein Fremder, und wer weiß, ob ich sie jemals wiedersehe.”

“Da habt Ihr recht”, erwiderte Lalla trocken. “Auch wäre es vielleicht für euch beide nicht heilsam, wenigstens für Euch. Denn von *ihr* wißt Ihr ja wohl nicht, ob sie nicht schon längst ihr Herz vergeben hat.”

Annina stand plötzlich auf. “Lalla”, sagte sie, “was haben wir getan! Ich fühle es an der Luft, daß die Sonne untergehen will, und wir sind noch hier, da wir nur eine Stunde ausbleiben durften.”

“So komm, Herzchen”, erwiderte die Kleine und schlang Anninas Arm durch den ihren, während sie den Sonnenschirm wie eine Lanze einlegte, “wir schlagen uns tapfer nach Hause durch, und ich nehm’ es auf mich, dem Papa so viele Possen vorzumachen, daß er das Schelten vergißt und daß selbst der Bär, Sor Beppe, aus einer Molltonart brummt. Gute

Nacht, Signor 'Ans, und wenn Ihr Eurem Phönix wieder begegnet, grüßt ihn von mir, aber hütet Euch, sein Nest auszukundschaften, denn es möchten andere Vögel mit scharfen Augen und noch schärferen Klauen in der Nähe sein. Nicht wahr, Annina?"

Die Schöne, die vorhin bleich gewesen war, erglühte wieder bis unter die Augen. "Lebt wohl, Signor!" sagte sie leise und gab ihm zögernd ihre schmale, kühle Hand, um die er bat. "Fräulein", sagte er, "soll ich nicht hoffen, daß ich Euch wiedersehen werde?"

Sie schüttelte fast erschrocken den Kopf. "Nein, nein!" sagte sie rasch und wandte sich ab. Lalla machte ihm hinter ihrem Rücken ein Zeichen, das er nicht verstand, rief dann dem Hunde, der sich nur widerstrebend von seinem Freunde trennte, und so gingen sie ihres Weges, von dem Jüngling nur mit den Augen begleitet.

"Wir sind wieder allein, Wackerlos", sagte Hans und hob das müde Tier neben sich auf die Bank. "Da gehen sie hin und sagen: Auf Nimmerwiedersehen! Für heute mag's sein. Aber morgen, wenn wir satt sind und ausgeschlafen haben, machen wir uns auf die Beine und durchsuchen jeden Winkel der Stadt, und es wäre eine ewige Schande für dein ganzes Geschlecht, wenn du diesen biedern Rinaldo nicht ausfindig machtest. O Wackerlos, wenn du ihm auf die Spur kommst, sollst du das seligste Hundeleben von der Welt führen, Salami⁶⁷ frühstücken und Gallinacci⁶⁸ zu Nacht essen und mit Freund Rinaldo den geschlagenen Tag Morra⁶⁹ spielen."

Das Hündchen blinzelte ihn sehnsüchtig an, kroch dann von der Bank herunter und bellte schwach, zum Zeichen, daß es um diesen Preis willens sei, sich sogleich in Bewegung zu setzen. Nun stand die Sonne schon tief am Horizont, und die Büsche umher waren in Feuer getaucht, während das ferne Gebirge durch violetten Duft herübersah und graue Schatten über die Wellenzüge der Campagna hinliefen. Über dem Auge des Malers, das sonst so begierig dem Äther seine Geheimnisse abzulernen strebte, lag es heute wie ein goldner Schleier, der ihm die Welt verbarg und sich nur lüftete, um den reizenden Umriß eines Mädchenkopfs und die rätselvollen Sterne zweier Augen durchschimmern zu lassen. Auch an der Brustwehr, von der herab sich die ganze Majestät der Stadt mit der Krone Sankt Peters in Purpurflammen des Abends überschauen ließ, ging er zerstreut und ungerührt vorbei. Die Sinne weigerten sich, neue Wunder aufzunehmen. Ein Tag, der ihnen die Delphische Sibylle und die Blüte römischer Jugend offenbart hatte – was hatte er ihnen noch zu bieten?

Als der Jüngling die schroffe Steintreppe zu seiner armseligen Wohnung hinaufgestiegen war und in die kahle Dachkammer eintrat, war es ihm ordentlich wohlthuend, die nackten, weißgetünchten Wände um sich zu haben. Er verhing den untern Teil des Fensters, der auf die Straße ging,

und ließ nur die schräge Hälfte, die man des Oberlichts wegen in der Fläche des Dachs ausgebrochen hatte, unverhüllt, um von der ganzen Welt nur ein Stück Himmel in seine Einsamkeit blicken zu lassen. Bald aber trat die Wirtin ein, fragte mit zutulicher Geschwätzigkeit nach seinen Befehlen und ließ sich nicht abhalten, nachdem sie Essen und Wein heraufgeschleppt hatte, ihn und selbst den Hund bei Tische zu bedienen. Denn sie hatte wohl gemerkt, daß Wackerlos viel bei seinem Herrn vermochte, und da sie zärtliche Absichten auf diesen hatte, schien es ihr klug, sich vor allem der Protektion des Dieners zu versichern. Also steckte sie ihm die besten Bissen eigenhändig ins Maul, lobte mit Hintansetzung der Wahrheit seine schöne Gestalt und wunderte sich einmal über das andere, wie viel Italienisch er schon verstehe. Hans, dem sie durch ihre unverblünte Zudringlichkeit überlästig war, konnte sie doch nicht aus dem Zimmer weisen. Denn von ihrem guten Willen hing es vorläufig ab, ob er Rom nur gesehen haben sollte, um darin zu sterben. Nur dem erneuerten Antrag, ihr Bildnis zu malen, wich er wiederum aus, mit allerlei Vorwänden, die er in wachsendem innerm Abscheu zusammenfabelte. Dann schützte er Müdigkeit vor und riegelte sich, ehe er zu Bette ging, sorgfältig ein, nachdem er zum Überfluß den Tisch vor die Tür geschoben hatte.

Die Tage des Oktobers, die nun folgten, waren zu gleichen Teilen geteilt zwischen dem Vatikan und der Stadt, zwischen Raffael und Annina. Nur daß er den einen mit Augen sah und dem Bilde der andern vergebens nachirrte. Bald stand es bei ihm fest: nicht das geringste werde ihm glücken, ehe er das Mädchen wiedergesehn. Denn wenn er in seiner Dachkammer saß und arbeiten wollte, ertappte er sich stets darauf, daß er auf die leere Wand starrte. Dann piffte er seinem Hündchen und wanderte aufs Geratewohl in die Stadt hinein, bis die Nacht kam und die letzten Beterinnen aus den Kirchen, die letzten Müßiggänger aus den Straßen verschwanden. Traurig suchte er dann seinen Rückweg, und selbst das Gespräch mit Wackerlos, seinem Vertrauten, geriet ins Stocken. Es trat überhaupt eine gewisse Kühle zwischen den Kameraden ein, seit der Hund die Hoffnungen, die sein Herr auf seine Spürkraft gesetzt hatte, so schmählich betrog. Es hatte sich ereignet, daß Wackerlos eines Tags mit freudigem Bellen auf einen derben Fleischerhund zusprang, in welchem er offenbar Rinaldo zu erkennen glaubte. Dem guten Hans schlug das Herz bis in den Hals hinauf; nur einen Moment. Denn im nächsten erkannte er die frevelhafte Verirrung des Instinkts und verließ sich seitdem mehr auf das Schicksal als auf die Hilfe irgendeines Sterblichen.

So verging der ganze Oktober, und am Nachmittag des Letzten im Monat schlenderte unser Freund bekümmerten Herzens zu einem der Tore hinaus, von Wackerlos begleitet, der ihm aber weniger Trost gewährte als

je, weil er von der Jagd auf Eidechsen und Feldmäuse völlig in Anspruch genommen war. Plötzlich aber stand das Hündchen mitten auf der Straße still, hob die Nase und den rechten Vorderfuß in die Höhe und stürzte dann wie besessen in die offene Tür einer kleinen Schenke, die hier einsam an der öden Straße stand und Hans durchaus nicht einladend erschien, seinen letzten Paul dort nach Wein zu schicken. Unwillig rief er den Hund zurück und blieb an der Tür stehen. Der dunkle Hausgang der Vigne öffnete sich in einen kahlen Hof mit Bäumen und Bänken bepflanzt, wo nur ein paar Carretieri hinter der Flasche saßen. Und doch war es der letzte Oktobertag, wo bei heiterm Himmel sonst die Gärten um Rom von Tanz und Getümmel schwirren und sausen. Hier klang nur ein einzelnes Tamburin. Aber wie ein Blitz schlug es bei dem Jüngling ein, als er auf einmal die helle Stimme seines Wackerlos von einer rauheren begleitet hörte. Das war der Baß des lang vermißten Rinaldo, und wahrhaftig, da führte Wackerlos den Wiedergefundenen im Triumph auf die Straße hinaus, da sie offenbar den Raum drinnen für ihre Freudensprünge zu enge fanden.

Im Sturmschritt durchmaß der Jüngling den Hausflur und trat bebend in den Garten. Eine große Weinlaube ganz im Hintergrunde fiel ihm sogleich ins Auge. Von dorthier erscholl das Tamburin, und dort hinter den Ranken sah er eine helle Mädchengestalt sich hin und her drehen in einem hastigen Zirkeltanz. Die das Tamburin schlug, saß dicht am Eingang. Sie wandte ein wenig das Haupt, mehr brauchte er nicht zu sehen.

Der frohe Schrecken schlug ihm dergestalt in die Glieder, daß er sich auf die nächste Bank niederließ. Der Wirt brachte ihm Wein und Brot und stellte einen Teller mit Oliven vor ihn hin. Er ließ alles unberührt und bohrte unverwandt seine Blicke durch die Laubengitter in den helldunkeln innern Raum. Bald hatte er in der Tänzerin, die ihre Tanzlust wie ein Vogel im Käfig ausließ, seine Freundin Lalla erkannt. Und der Alte mit dem soldatischen Knebelbart und dem tiefen Hieb über das linke Auge war offenbar der Vater. Aber der andere, der nahe bei Annina saß und ihr dann und wann etwas ins Ohr sagte, wer konnte es sein als der Bär, Sor Beppe? Seine breite, ungeschlachte Gestalt, auf der ein halb mürrisches, halb gutmütiges Birnenhaupt ohne jede Spur eines Halses aufsaß, rechtfertigte den Namen allerdings, obwohl der Bär sich in zierliche, geleckte Kleider gesteckt hatte und einen Granatenzweig im Knopfloch trug. Was mochte er dem Mädchen ins Ohr zu flüstern haben? Es schien ihr nicht sehr an die Seele zu dringen. Wenigstens sah sie, ohne eine Miene zu verziehen, in ihren Schoß und schlug mechanisch wie im Traum die kleine Schellenpauke, bis Lalla rief, daß es genug sei. Sor Beppe klatschte verbindlich in die Hände; offenbar war es seine Schuld, daß man

sich in diese entlegene Vigne zurückgezogen und selbst hier vor dem wenigen Publikum in die Laube versteckt hatte. Denn als Lalla mit Tanzen innehielt und nun Annina aufforderte, mit ihr hinauszutreten, sah Hans deutlich, wie er es untersagte und sich breit vor den Eingang der Laube hinpflanzte. Er hatte freilich den Jüngling draußen längst wahrgenommen, der kein Auge von ihnen verwandte. Und jetzt fiel auch Lallas Blick auf den wohlbekannten Fremden; sie neigte sich zu Annina herab und sprach leise mit ihr. War es Gleichgültigkeit oder etwas anderes, daß sich das Mädchen nicht umwandte? – Es schien eine gespannte Stille unter den vier einzutreten, die vor allen Sor Beppe unheimlich ward. “Du wirst so blaß, Annina”, sagte er plötzlich. “Wenn der Vater sein Glas ausgetrunken, sollten wir wohl nach Hause aufbrechen, ehe die Nachtkühle eintritt. Wir können nun doch sagen, daß wir unseren Oktober mit einer anständigen, unschuldigen Lustbarkeit beschlossen haben.”

Über Lallas Gesicht flog ein spöttisches Lächeln, das sie kaum bezwingen konnte. Still und blaß trat Annina aus der Laube, ihren Vater führend, der offenbar dem Wein zu tapfer zugesprochen hatte. Ihren andern Arm hatte Sor Beppe ergriffen und sorgte dafür, daß er im Vorbeigehen an dem Tische des Jünglings mit seiner breiten Figur das schlanke Kind völlig verdeckte. Hinter den dreien kam die mutwillige Lalla, die durch ein verstohlenes Achselzucken andeutete, daß sie sich aus freien Stücken diese Gesellschaft und diesen Ort wahrlich nicht ausgesucht haben würde. Dann legte sie den Finger auf den Mund und machte eine flehentliche Gebärde, die Hans beschwor, zurückzubleiben. Ihn aber hätte die Posaune des Jüngsten Gerichts nicht abgeschreckt, ihren Spuren zu folgen. Doch hielt er sich in einer mäßigen Entfernung und war bemüht, den Verdacht einer geheimen Absicht von sich abzulenken, indem er öfters still stand, links und rechts die Gegend betrachtete, ja sogar sich stellte, als zeichne er einen flüchtigen Umriß in sein Skizzenbuch. Nur zu denken gab es ihm, weshalb auch die Freundin, die ihm doch nicht abhold war, so eifrig die Fortsetzung der Bekanntschaft zu verhüten strebte.

Er sollte noch diesen Abend darüber aufgeklärt werden. Denn als die Gesellschaft in einem anständigen Hause der Via Vittoria verschwunden war und der Jüngling an der verschlossenen Tür vorüber, mit dem letzten wütenden Blick Sor Beppes beladen, halb selig, halb verzweifelt durch die dämmernden Gassen hinschritt, hörte er plötzlich eine halblaute Stimme hinter sich seinen Namen rufen. Mit trippelnden Füßen wie eine Bachstelze kam die kleine Lalla daher, winkte ihm mit den Augen, daß sie mit ihm zu reden habe, strich aber an ihm vorbei und zog ihn mit listigen Gebärden sich nach, tiefer in die Stadt hinein, bis sie endlich unter den Säulen des Pantheons im schwarzen Schattenwinkel stehenblieb und ihn nahe herankommen ließ.

“Signor ‘Annes’, sagte sie, indem sie den Finger drohend aufhob, “was habt Ihr uns für Geschichten gemacht! Haben wir uns Eure werthe Gesellschaft nicht deutlich genug verboten, und nun hängt Ihr Euch doch an unsere Fersen, wie der Donner an den Blitz? Und was erreicht Ihr damit, als daß diese arme Kreatur, die Annina, von dem Bären nur tiefer in seine Höhle vergraben wird, daß er seine Tatzen nicht mehr wegziehen wird vom Riegel an der Tür und so gefährlich durchs Haus brummt, daß der Kalk vor Schrecken von den Wänden fällt? Schämt Euch, daß Ihr einem armen Kinde, das aus der Not um Gottes willen eine Tugend machen muß, solch ein Gewicht ans Herz hängt. Accidente über Euren garstigen Hund, der all das dumme Zeug angezettelt hat!” – Und sie schlug, ernstlich aufgebracht, nach dem arglosen Tier, das vor dem Sonnenschirm befremdet die Flucht ergriff.

“Gute Lalla”, erwiderte der Jüngling, “tut nur heute dem Burschen da nichts zuleide, da er mir endlich wieder zu Eurem Anblick verholffen hat.”

“Zu meinem?” fragte sie spöttisch. “Aber was sollen die Flausen! Geradeheraus, Herr: Ihr seid in Annina verliebt, aber sehr, sage ich Euch. Und das ist eins. Und das zweite ist, daß Ihr Euch die ganze Annina, so schön und gut und süß sie ist, aus dem Sinne schlagen müßt und hier in meine Hand geloben, ihr gerade so eifrig aus dem Wege zu gehen, wie Ihr bis heute ihr nachgelaufen sein mögt. Denn ich leid’ es nicht”, sagte sie mit entschiedenem Tone, “ich leid’ es durchaus nicht, daß Ihr das arme Ding nun auch noch zu quälen anfangt, da bereits so viele Menschen dies christliche Geschäft betreiben.”

“Lalla!” rief er in höchster Bewegung, “was heißt das? Ist es wahr, daß der plumpe Gesell seine Augen zu dem Engel aufhebt? Ist es denn möglich?”

“Pah!” sagte sie, “der plumpe Gesell hat einen Geldsack, gerade so plump und rund wie er selbst, und wäre übrigens gar nicht so schlimm, wenn die Welt eine wüste Insel wäre und Annina und Sor Beppe die einzigen Menschen darauf. Auch in Rom nähme ihn noch manche ums halbe Geld; nur gerade meine Annuccia nicht, die einen wundersam aparten Geschmack hat. Ich kann es Euch nicht besser beweisen, als wenn ich Euch verrate, daß die Törin mehr als billig an Euch Gefallen gefunden hat, der Ihr doch wie ein David gegen den Goliath Sor Beppe aussieht und Eurem Röckchen nach mehr im Kopfe als in der Tasche habt.”

“Sie hat es dir gesagt, Lalla, daß sie mich im Sinn behalten hat?”

“Gesagt? Ei, da kennt Ihr sie schlecht. Aber ich kenne sie desto besser. Und darum nochmals, ich leid’s nicht, daß Ihr sie nur ein einziges Mal wiederseht. Denn der Bär hat sie in den Tatzen, und alle Heiligen könnten sie nicht herausreißen, eher würde er sie zerquetschen wie eine

Honigwabe. Die Geschichte ist schon zu alt, und der Papa zu vernarrt in den lieben Eidam, und die Mutter, die nie das Bett verläßt, zu sehr in der Hand der Pfaffen, die alle Sor Beppes Geldsack lieber läuten hören als die Glocke zur Frühmesse. Bester Sor Giovanni, wenn Ihr wirklich ein Herz habt – und so scheint es doch, da Ihr verliebt seid –, so packt Eure Sachen und wandert aus Porta del Popolo weg, dahin, von wo Ihr gekommen seid, und fangt Euch Tauben oder Nachtigallen, wo und soviel Ihr wollt, nur dem Phönix legt keine Leimruten. Und dies sagt Euch Eure gute Freundin, die von den Mannspersonen gern das Schlimmste denkt, aber Euch zutraut, daß Ihr so ein Ding wie ein Gewissen unterm Rocke tragt. Habt Ihr verstanden? Gute Nacht, Signor!”

Damit ließ sie ihn unter den Säulen stehen und eilte fort, um noch vor der Nacht ihre Wohnung in Trastevere zu erreichen. Hans aber konnte sich nicht von der Stelle rühren, so heftig tobte ihm Weh und Wonne durchs Herz. Daß er sie in derselben Stunde für ewig verlorengelassen sollte, wo er sie wiedergefunden hatte, wo er erfuhr, daß sie ihn nicht vergessen, war ihm unmöglich zu denken. Aber wenn seine arme Seele eben tief in einem bodenlosen Meer von Seligkeit versinken wollte, sah er plötzlich ein Gebirge von schroffen Klippen rings umher in die Höhe wachsen und auf der höchsten Spitze die breite Zyklopengestalt Sor Beppes, der höhnisch herniedergrinste und sich die fetten, beringten Hände rieb, über dem scheiternden Liebesglück eines armen Rivalen.

Noch eine Stunde lang schritt er wie ein Unsinniger auf und ab, in hitzigen Selbstgesprächen, während Wackerlos mit hängenden Ohren neben ihm hinschlich. ‘Seelenverkäufer!’ wütete er in sich hinein. ‘Da verhandeln sie das Kleinod an den ersten besten, der den Marktpreis zahlt. Für keinen König sollte es ihnen feil sein! Und wenn er es haben wird, wird er es in einen dumpfen Kasten verschließen, und niemand kann sich mehr daran freuen. Wie triumphierend der elende Mensch an mir vorüberging! Oh, er hat Grund, stolz zu sein, daß sie ihm nicht entläuft, wenn er sie von Hunden begleiten läßt und sie höchstens einmal am Feiertag in die lichtscheueste Winkelschenke führt, damit er unter Gesindel und Bettlern noch den Liebenswertesten vorstellen möchte. Und dem soll ich sie nicht beneiden dürfen und den nicht in seiner Ruhe stören? Und wenn er mit allen Pfaffen Roms und der Hölle im Bunde wäre, ich muß den Engel wiedersehen und aus ihrem eigenen Munde hören, ob ihr nicht mehr zu helfen ist, ob ich ihr nicht helfen kann!’

Als er sich dieses Ziel klar vorgezeichnet hatte, wurde er viel ruhiger und vergaß so ziemlich, daß er über die Mittel und Wege noch völlig im Dunkeln war. Es zog ihn in die Via Vittoria zurück, wo er bis Mitternacht ihrem Hause gegenüber auf einem Ecksteine saß und sich mit den lieblichsten Gedanken an ihre Schönheit und Schwermut

hoffnungsvoll und sehnsüchtig unterhielt.

Aber freilich sah es am anderen Tage, als ihn die bangen Sorgen frühzeitig weckten, mit der Hoffnung übel aus. Denn bei all seinem Künstlerleichtsinn wollte es unserm Freunde doch nicht geraten scheinen, so geradezu der Geliebten das Haus überm Kopf anzuzünden, nur um sie bei der Gelegenheit zu retten, zumal es nicht gewiß war, ob Sor Beppe ihm den Gefallen tun würde, in den Flammen umzukommen. Auf einem geraderen, bürgerlicheren Wege erblickte er wenig Heil. Zu dem alten Soldaten hinzugehen und ihn zu bitten, seine Tochter nicht zu vergeben, bis der Maler Hans ein berühmter Mann geworden wäre und in einer Karosse mit vier Pferden um sie werben könne, versprach nur einen mittelmäßigen Erfolg. So blieb es denn die nächsten Tage bei windigen Luftschlössern, die der Jüngling auf den Wolken seiner Zukunft aufbaute, und das einzige Zweckmäßige, was er anfang, war, daß er seinen Widerwillen überwand und, freilich im halben Schlaf, das Bildnis der Madonna Pia⁷⁰ zu malen begann, von Gold und Seide starrend, einen grünen Papagei wie einen Falken auf der Hand, das letzte Geschenk ihres Mannes vor dem verhängnisvollen Messerstich. Daneben entwarf er eine schöne Komposition, Rebekka, welche den Eleazar am Brunnen trinkt. Das Mädchen sollte die Züge Anninas tragen, und in dem verschmachtenden Reisenden, dem die fremde Liebliche das Labsal kredenzte, dachte er sich selbst darzustellen. Er hatte recht behalten mit seinem Glauben, daß ihm alles wieder glücken werde, wenn er Annina wiedergesehen. Das Porträt war in zwei Tagen zum Entsetzen ähnlich geworden; die Komposition schritt mächtig vor und wurde von einem Juden, der in den Ateliers der namenloseren jüngeren Künstler herumspürte, auf den ersten Blick bestellt. Als dies sich eben ereignet hatte, rannte der Jüngling wie verwandelt ins Freie und schritt wohl ein dutzendmal mit frei emporgewandten Augen die Via Vittoria hinauf und hinab. Wäre ihm jetzt Sor Beppe begegnet, so hätte der Koloß ihm ausweichen müssen, oder er wäre erbarmungslos zu Boden gerannt worden.

Bei alledem war es ihm noch nicht geglückt, Annina wiederzusehen, obwohl er täglich ihr Haus umschlich. Die Jalousien blieben streng verschlossen, wie in einem Harem des Morgenlandes. Nur dann und wann sah er den Vater in einem der Fenster liegen und eine kurze Tonpfeife rauchen. Der Alte stierte mit einem halb kindischen Lächeln auf die Straße und schien den Jüngling nicht zu beachten, selbst als dieser, in einer Anwandlung von Ehrfurcht vor dem Manne, der solch eine Tochter besaß, grüßend den Hut zog. Ins Haus zu dringen oder sonst einen heimlichen Verkehr anzuknüpfen, war unmöglich. Denn auch die Nachbarn, vielleicht durch Sor Beppe gewonnen und besoldet, zeigten

dem Fremden, der täglich zweimal die Straße passierte, ein wortkarges Mißtrauen. Nur das erreichte er, daß, wenn er vorbeikam und Wackerlos an den Ohren zauste, bis er zu heulen anfing, die wohlbekannte Baßstimme Rinaldos im Innern des Hauses anschlug, aber kleinlaut, mit dem Tone eines Geschöpfes, das seine verlorene Freiheit beklagt.

So waren die ersten Wochen des Novembers vergangen und ein unerhört früher Winter hereingebrochen. Sturm und kalter Regen fegten durch die Gassen, die Römer saßen in ihre weiten Mäntel gehüllt tagelang in den Kaffeehäusern, die Fremden froren bei den Kohlenbecken oder erstickten im Rauch, den der Sturm durch die Kamine in die Zimmer zurückpeitschte, und niemand mochte sich ohne Not auf die unwirtliche Straße wagen. Nur unser Freund, dessen schlechte Dachwohnung nicht zu erwärmen war, wanderte, obwohl er seinen Mantel schon in Florenz zurückgelassen hatte, getreulich nach wie vor seinen täglichen Gang durch die Via Vittoria, allerdings in einer Gemütsstimmung, die mit jedem Regentage trost- und mutloser ward. Da begegnete es ihm eines Abends, als er im Portal von San Carlo einen Augenblick Schutz vor dem Unwetter suchte, daß eine tiefverschleierte Gestalt mit raschen Schritten aus dem Innern der Kirche trat und, ohne sich vor der Wut des Sturmes zu fürchten, sogleich einen großen grünen Regenschirm aufspannte, um ihren Weg anzutreten. Sie war so in Mantel und Tücher vermummt, daß von der Figur nicht das geringste zu erkennen war. Und doch verriet dem Jüngling der Tumult in seinem Herzen, daß ihn Anninas Kleid gestreift haben müsse. Unverzüglich schritt er ihr nach und erreichte sie, als sie eben stehenblieb, um ihren Schirm gegen die Windsbraut zu verteidigen. Er sprach kein Wort, er griff mit bebender Hand nach dem Schirm und hielt ihn stark über ihrem Haupt. "Wir wollen um die Ecke biegen", sagte er dann leise, ohne sie anzusehen. "Wir sind dort geschützter vor dem Orkan. Kommt mit mir, Annina, um Gottes willen, schlagt mir diese kurze Gunst nicht ab; wer weiß, ob ich Euch je wiedersehe."

Ihr Schleier hatte sich verschoben, und er sah jetzt, da sie stumm unter dem Schirme neben ihm ging, daß sie noch bleicher war als sonst. Sie sah ihn mit bittenden Augen an wie ein hilfloses Kind. War es Absicht oder Verwirrung, daß er den Weg nach Via Vittoria nicht einschlug? Sie selbst schien es nicht zu bemerken. Sie ging wie im Traume, die großen Augen still und traurig ins Weite gerichtet, während er, nachdem sie lange nur den Regen über ihren Häuptern hatten niederprasseln hören, plötzlich Sprache gewann und ihr alles sagte, was ihm seit Wochen das Herz bedrückt hatte. Er verschwieg nichts, nicht seinen Haß auf Sor Beppe, nicht seinen festen Entschluß, auf Tod und Leben sie ihm abzukämpfen, nicht seine Armut. Nur von seiner Liebe sprach er kaum und fragte nicht einmal nach der ihren, als wäre beides über allen Zweifel weit erhaben.

Auch gab sie kein Zeichen des Gegenteils. Er hatte ihre Hand gefaßt und drückte sie heftig, sooft er von seinem Feinde sprach und von seinen Qualen, daß er sie in solcher Knechtschaft sehen müsse. Sie entzog ihm die Hand nicht. Sie hätte ihm auch wohl die Lippen nicht versagt, wenn es ihm eingefallen wäre, sie zu küssen. Aber seine Gedanken waren in einem Aufruhr, daß die Sinne dagegen verstummten. "Annina", sagte er, "wir sind sehr unglücklich. Wie sehr müssen wir es sein, daß wir selbst diese vom Himmel uns geschenkte Stunde, wo wir uns haben dürfen, nicht froh genießen können. Ich sehe dein liebes Gesicht, nach dem ich so lange von fern geschmachtet, nun so nah und fühle deinen Atem wehen, und doch ist alles in mir aufgewühlt von ohnmächtigem Grimm und Schmerz um dich. Sprich ein Wort, Liebste; sage, ob du selbst einen Trost zu finden weißt, sage vor allem, daß ich nicht verzweifeln soll, und ich verspreche dir, wie ein Mann mich zu fassen und die Hände nicht in den Schoß zu legen, und dann wird es gelingen, und wir werden es mit der ganzen Hölle aufnehmen können."

Sie stand auf einmal still, als er dies gesagt hatte, und hielt seinen Arm sanft zurück. "Hans", sagte sie mit ihrer weichen, umflorten Stimme und bemühte sich, den fremden Namen deutlich auszusprechen, "die Madonna ist gnädig, daß sie mir erlaubt, mein Herz gegen Euch auszuschütten. Denn es war zu voll, ich hätte es nicht lange vorm Zerspringen bewahren können. Wenn ich Euch Tag für Tag in gutem und bösem Wetter an unserm Hause vorbeigehen sah –"

"Du sahst mich?"

"Immer. Ich stand hinter der Jalousie und durfte sie nicht öffnen. Und wenn Ihr vorüber ward, meinte ich es nicht zu tragen, und daß mir wohler sein würde, wenn ich mich auf das Pflaster hinunterstürzte. Aber das wäre gottlos. O Giovanni, warum mußten wir uns begegnen? Ich war vorher wohl auch nicht froh, aber ich wußt' es nicht so deutlich, warum. Nun werd' ich es mein Lebtage wissen."

"Was sprichst du?" sagte er leidenschaftlich. "Bist du denn schon vor Gott und Menschen dem Ungeheuer überliefert? Kann denn nicht jeder Tag dir Rettung bringen?"

"Nein", sagte sie. "Meine Eltern beide würden mich verfluchen, meine Mutter stürbe daran. Und wenn auch heut in dieser Stunde Sor Beppe Todes verbliche, was hilfe es uns? Ihr seid kein Christ, Ihr seid ein Lutheraner, sie gäben einem solchen ihr Kind nimmermehr."

"Annina!" rief er erschrocken. "Und du, wenn du frei wärest und auch nach den Eltern nicht zu fragen brauchtest?"

"Ich würde die Madonna bitten, Euch einen Strahl der Gnade ins Herz zu senden. Aber das ist umsonst; ich weiß es gewiß, daß ich Sor Bepes Frau werden muß, ich stürbe denn vorher. Und so müssen wir

scheiden, Hans, es hilft nichts; es geschehen keine Wunder mehr.”

“Mädchen, du kannst es denken, kannst es sagen?” rief er außer sich und ließ ihre Hand fahren.

“Seid stark und gut”, bat sie mit zitternder Stimme. “Was soll *ich* denn anfangen, wenn *Ihr* verzweifeln wollt? Ihr werdet nach Deutschland zurückkehren und Annina vergessen und den Ring Eurer Mutter einer andern an den Finger stecken. Und ich, ich bleibe hier!”

Sie schwieg und kämpfte mit großer Mühe ihren Schmerz nieder. “Sehet”, fuhr sie dann fort und sah ihm mit einem unbeschreiblichen Blick in die Augen, “Wunder geschehen nicht mehr, das ist wahr; aber es gibt noch Märtyrer auf Erden, und viele trinken das teure Blut unseres Heilandes mit ihrem eigenen vermischt. Warum soll ich es besser haben? Weil ich noch so jung bin? So hab’ ich desto länger Zeit, das Leiden zu lernen. Aber ehe es ganz Nacht für mich wird, will ich noch einmal Sonnenschein genossen haben. Ich habe mir was ausgedacht”, fuhr sie leiser fort, und eine Röte überflog ihr schönes Gesicht. “Ihr sagtet damals, daß Ihr gern mein Bildnis zeichnen wolltet. Ich habe mir überlegt, daß ich keine Sünde begehe, wenn ich Euch das erlaube; und nun merkt wohl auf, wie wir es anstellen können, so daß niemand davon erfährt. In drei Tagen reist mein Verlobter auf einige Zeit fort, in Geschäften, bis nach Assisi. Dann noch zwei Tage, so haben wir Sonntag, wo ich früh in die Kirche gehe. Ich werde es so einrichten, daß mich niemand begleitet, und dann komme ich in Eure Wohnung, Hans, und bleibe bei Euch zwei, drei Stunden lang. Wir wollen dann recht von Herzen miteinander plaudern. Aber eins müßt Ihr mir heilig versprechen: nichts von Liebe, nur wie alte Freunde, die sich von Kind auf kennen und sich gern einmal das Herz ausschütten. Zu Mittag geh’ ich wieder, in meinem Schleier wird mich niemand erkennen; denn wenn es Sor Beppe erführe, so ermordete er mich. Er ist nicht schlecht, glaubt es mir, aber er kennt sich nicht im Zorn, und zum Rasen bringt ihn die Eifersucht. Und noch eins: ein Bild von Euch hätt’ ich gern, so klein, daß ich es in mein Meßbuch legen könnte. Wollt Ihr mir das zum Andenken verehren?”

“Annina”, rief er, “ist es wahr? das willst du für mich tun?”

“Ich will es”, sagte sie mit ihrem holdesten Lächeln. “Ich habe mir es so fest vorgenommen, daß ich eher stürbe, als davon ließe. Ich wollte es in jedem Falle tun und hätte die Lalla gebeten, es Euch zu sagen. Nun durfte ich es Euch selber anvertrauen; das freut mich. Ich weiß, wo Ihr wohnt. Ich ging einmal durch Eure Straße, da sah Euer Hündchen zum Fenster hinaus. – Nicht wahr, Ihr werdet Wort halten und uns, wenn ich gehen muß, den Abschied nicht schwermachen?”

Er blieb die Antwort schuldig. Darauf nahm sie ihm den Schirm aus der Hand und sagte: “Lebt wohl! Ich gehe jetzt allein nach Haus. Und

bis zum Sonntag bleibt aus der Via Vittoria weg. Wenn Verdacht entstünde und mein Gefängnis noch härter würde, so daß ich nicht zu Euch könnte, es wäre mein Tod. Lebt wohl, Hans! Auf Wiedersehen, einmal, und dann – vergessen für immer!”

Sie winkte mit den Augen und der zarten Hand unsäglich liebevoll zum Abschied und verließ ihn in dem leeren Flur des alten Palastes, wo sie ihr letztes Gespräch geführt hatten. Jetzt erst, da sie ihm entschwand, fühlte er das brennende Verlangen, ihr nachzustürzen und sie in die Arme zu pressen. Dann bezwang er sich, um das, was sie ihm zugesagt, nicht etwa durch seinen Ungestüm zu verscherzen.

Die halbe Nacht schloß er kein Auge, aber nicht mehr der Kummer hielt ihn wach, obwohl ihm alle Luftschlösser zertrümmert worden waren, sondern eine Freudenunruhe, die heimlich in ihm sang und klang, wie in seinen jüngsten Jahren, wenn er sich auf Weihnachten freute. Um sein Dachstübchen tobte der Novembersturm und stieß zudringlich gegen die klappernden Scheiben, und der Regen klirrte auf das obere Fenster, als würden Steine herabgeschüttet. Der Jüngling aber saß auf seinem Bette und sah in das trübe Flämmchen der Messinglampe, dem bei jedem Windstoß der Atem zu vergehen drohte. Erst heut erschrak er vor der Kahlheit der Wände und der Armseligkeit alles Geräts. Hier sollte sie eintreten, diesen wurmstichigen Armsessel mit dem verschossenen Überzug sollte er ihr anbieten, und an einem Schemel fehlte es, ihre Füße darauf zu setzen, an einem schönen Glas, ihr einen Trunk anzubieten; und wie verraucht war die Decke, wie nackt und voller Sprünge der Fliesenboden! Das mußte alles anders werden, oder er hatte sich sein Lebtage zu schämen. Er fing noch in der Nacht an, ein wenig aufzuräumen, die Spinnweben aus den Winkeln zu kehren, seine wenigen Habseligkeiten, die bunt herumlagen, in den alten Wandschrank zu schließen oder in eine gefällige Ordnung zu bringen. Darüber erlosch das Lämpchen, und er mußte sich niederlegen. Nun horchte er auf das Unwetter mit heimlichem Frohlocken, daß es ihm und seiner Wonne nichts anhaben könne. Er erwartete ja über fünf Tage den Frühling in seiner winterlichen Kammer und zweifelte nicht daran, daß dann aus den Ritzen des Steinbodens Veilchen und Rosen sprießen und in der Krone seines alten Himmelbettes eine Nachtigall ihr Nest bauen würde.

Unmerklich verloren sich seine überschwenglichen Gedanken in Träume, die von keinem Schatten getrübt waren. Er und sie waren immer ganz allein, bald im Garten einer der sonnigen Villen vor den Toren Roms, bald auf dem windstillen Meer, und nur als sie eben in den Turmknopf auf der Peterskuppel gestiegen waren und sich nebeneinander auf das eiserne Bänkchen gesetzt hatten, hörten sie unter sich Sor Beppe's Stimme, der schallte und brummte und ihnen nachzuklimmen drohte; aber sie

fürchteten sich nicht, sie lachten heimlich zusammen, denn sie wußten ja, daß die Treppe, die hinaufführt, viel zu enge ist, um eine Figur von Sor Beppe's Umfang durchzulassen.

Ganz früh aber am anderen Morgen saß der Jüngling schon an der Staffelei und rührte sich vor Dunkelwerden nicht von der Stelle. Er genoß einige Bissen, die ihm Signora Pia aufnötigte, und eilte sich, sein Bild von Rebekka und Eleazar fertigzubringen, was ihm aber doch erst am nächsten Vormittag gelang, da die Nacht so früh anbrach und ihm den Pinsel aus der Hand nahm. Beim Lichte aber ging er an ein anderes Werk, sein eignes Bildnis im Spiegel zu zeichnen, nur so groß, daß man es in der Hand verbergen konnte. Er sah jetzt zum ersten Male, wie er seit einem Jahre schärfere und reifere Züge bekommen hatte; freilich stand die Geschichte des letzten Jahres, Freuden und Leiden seiner einsamen Wanderung, darauf zu lesen. An diesem Bildchen zeichnete er, bis ihn die Augen schmerzten, bei verschlossener Tür. Dann wachte er wiederum die Mitternacht in seinen Liebesgedanken heran, heute schon nicht mehr so leichtherzig wie gestern.

Die volle Glückseligkeit überkam ihn erst wieder, als er am Abend des zweiten Tages sein Bild bei dem jüdischen Kunsthändler abgeliefert und außer einer neuen Bestellung eine ganz artige Rolle freilich etwas beschnittener Zechinen⁷¹ erhalten hatte. Seit vielen Monaten war er nicht Herr so großer Schätze gewesen und schritt nun den Corso⁷² und die Via Condotti⁷³ entlang mit der Miene eines Bräutigams, der ausgegangen ist, die Brautgeschenke zu kaufen. Jedoch kam es ihm seltsamerweise nicht in den Sinn, unter den vielen Schmucksachen, geschnittenen Muscheln und Korallenschnitzwerk irgend etwas für Annina zu wählen. Wie sie ging und stand, war sie ihm das Kostbarste der ganzen Welt, und es wäre ihm lächerlich vorgekommen, mit elendem Gold oder Steinen sie schmücken zu wollen. Aber der Ort, den sie zu betreten verheißen hatte, sollte würdig werden, sie zu empfangen. Das erste war, daß er einen schönen altertümlichen Armsessel kaufte, dessen geschnitzte Rücklehne mit einer kleinen Krone verziert war. Dann suchte er einen ziemlich großen Teppich aus, den Fußboden zu bedecken, und beschloß mit zwei schöngeschliffenen Kristallbechern für heut seine Einkäufe. Madonna Pia staunte nicht wenig, als am anderen Morgen diese Herrlichkeiten in das Dachstübchen ihres bisher so anspruchslosen Mieters hinaufgebracht wurden. Er aber beschwichtigte ihre Unruhe, ob er nicht etwa im Haupte verstört worden sei, durch die treuherzige Mitteilung, sein Bild habe so gefallen, daß er nun keinen Augenblick vor Besuchen der höchsten Herrschaften sicher sei, und er möchte doch gern, wenn unversehens die Prinzessin von Golkonda⁷⁴ sein Studium zu besichtigen wünsche, ihr einen standesmäßigen Sessel anzubieten haben. "Ich habe es ja gesagt, Sor

Giovanni", sprach das Weib mit aufgehobenen Händen, "in Euch steckt mehr, als man denkt, und wenn das Glück Euch nur erst einmal mit meinen Augen ansieht, kann es Euch gar nicht fehlen."

So waren von den verhängnisvollen Tagen die beiden ersten glücklich verstrichen, und es galt, mit den übrigen leidlich fertig zu werden, um dem Fieber der Erwartung nicht zu erliegen. 'Heut früh ist er nun abgereist', sagte sich der Jüngling. 'Wenn ich jetzt mich bei dem Hause blicken ließe, vielleicht stünde eine der Jalousien halb offen!' – Dann besann er sich, daß sie ihn gebeten hatte, geduldig auszuharren und fern zu bleiben, und gelobte sich's von neuem, durch Gehorsam sein Glück zu verdienen. Um die Stunden zu töten, fing er an, auf der weißen Wand seines Zimmers mit Kohle eine große Landschaft zu entwerfen, einen prachtvollen Hain am Meere, wo in der Abendstille die Nymphen am Ufer tanzten und ein Hirt auf der Schalmei dazu blies. Ganz im Vordergrund aber, an der Quelle, die zu Füßen der immergrünen Eiche entsprang, saß ein junges Paar Hand in Hand und hatte der ganzen Welt den Rücken gekehrt, um sich eins ins Anschauen des anderen zu vertiefen. Als er die kahle Fläche so schön belebt sah, füllte er auch die übrigen nackten Stellen mit zierlichen Arabesken, in denen der Vogel Phönix eine große Rolle spielte und hie und da eine breite häßliche Eule sich von einem Falken mißhandeln lassen mußte. So schuf er das dürftige Gemach zu einem phantastischen Märchenwinkel um, an dem er selbst seine Freude hatte, als er ihn nach vollbrachter Arbeit musterte. Nur eines fehlte zum vollen Behagen: ein wenig Sonnenschein, der Licht und Wärme hineingegossen hätte. Der Dunst des Kohlenbeckens war unerträglich, und eine beklommene wolkige Atmosphäre schwebte an der Decke hin und beengte die Brust. Wie dankbar blickte daher unser Freund nach einer Nacht, in der sich alle Stürme wie zum Untergange der Welt verschworen hatten, am Morgen des Sonnabends zum Himmel auf, der wieder blau und heiter war; wie begierig sog er durch das offene Fenster die Strahlen der hochwillkommenen Sonne ein, die in kurzem ihre alte südliche Herrschaft mit voller Macht wieder ausübte! Nun verwendete er diesen letzten Tag zu den noch übrigen Vorbereitungen und schleppte nach und nach alles in seinem Stübchen zusammen, was er an köstlichen Früchten, ausgesuchtem Naschwerk und seltenen Leckerbissen auftreiben konnte. Auch für einige Flaschen süßen Fraskatanerweins sorgte er und baute auf seinem Tische ein reizendes Stilleben auf, zu dem er sich nicht schämen durfte, selbst die Fürstin von Golkonda einzuladen. Nachts, als der Mond hereinsah und in den Kristallgläsern blitzte und die Orangen, Feigen und großen Weintrauben versilberte und den Nymphentanz auf dem Wandbilde erleuchtete, deuchte es den Jüngling selbst einen Augenblick, als träume er einen Zaubertraum. Bald aber fiel ihm ein, wie rasch die ganze

Herrlichkeit verschwinden werde, und eine tiefe Traurigkeit überfiel ihn. Sein Glück war nun so nah, und immer näher rückte auch die bitterliche Stunde, in der er dem Liebsten, was er hatte, für immer Valet geben sollte. Eine Weile versenkte er sich in das Vorgefühl dieser Schmerzen. Er sah Sor Beppe deutlich vor sich, mit einem grinsend schadenfrohen Gesicht, das ihm alles Blut in den Adern empörte. "Nein!" rief er und ballte die Faust, "es darf nicht so enden, es wäre die niederträchtigste Feigheit, wenn ich es geschehen ließe, ohne nur eine Hand zu rühren, ohne das Äußerste zu versuchen. Wir müssen fliehen, und müßten wir in einer wilden Höhle Schutz suchen und bei den Hirten der Campagna um ein Stück Brot betteln. Aber so schlimm steht es ja nicht. Habe ich nicht meine Kunst, die uns überall, wohin wir kommen, zu leben schaffen wird? Hat sie mir nicht bisher durchgeholfen, da ich ein Tagedieb war und die Hände in den Schoß legte? Und sollte mich jetzt im Stiche lassen, wo es gilt, diesem Engel die Wege weich und das Leben leicht zu machen? Ist es das erste Mal, daß eine Tochter aus dem Hause ihrer Eltern wegging und erst Jahre hernach wiederkam, sich ihren Segen zu holen?"

So redete er in stürmischer Aufregung vor sich hin, und je mehr er es überlegte, je natürlicher und notwendiger schien ihm dieser Entschluß. Sein Blick fiel auf das Hündchen, das ahnungslos zu Füßen des Bettes schlief. Warum hatte die Vorsehung sich dieses verächtlichen Mittlers bedient, um zwei, die sich völlig fremd waren, zueinander zu führen, wenn nicht ein höherer Plan zur Rettung des armen Kindes im Hintergrund stand? Und noch war ja nichts verloren. Besaß er doch von seinen Zechinen noch soviel, daß er mit seinem Schützling bis nach der Meeresküste gelangen konnte, wo sich das Weitere dann schon finden würde.

Als wäre ihm ein Stein vom Herzen gefallen, legte er sich schlafen und schlief die ganze Nacht so fest wie lange nicht. Denn auch der Zweifel beunruhigte ihn wenig, was Annina zu seinem Vorhaben sagen würde. Er traute es seiner Liebe schon zu, sie zu überreden. Und als ihn vollends die glänzendste Sonne weckte und über seinem Dach eine Menge Vögel sangen, sprang er so mutig auf wie ein glücklicher Liebender am Hochzeitsmorgen, der in wenigen Stunden seine Braut vor den Augen der glückwünschenden Freunde und Nachbarn zur Kirche führen soll.

Dann saß er, nachdem er an den Aufputz seines Zimmers die letzte Hand gelegt hatte, vor der Staffelei und hörte draußen auf allen Türmen die Glocken läuten und sein Herz dazu schlagen. Signora Pia kam an der Tür vorbei, rief einen guten Tag hinein und stapfte mit ihren schweren Tritten die Stufen hinunter, um in die Messe zu gehen. Das kleine Haus war leer. Im offenen Fenster stand Wackerlos und sah ernsthaft in den Menschenstrom hinab, der durch die Straße wogte. Auch sein Herr warf

dann und wann einen Blick ins Freie, zog sich aber sogleich wieder zurück, als fürchte er, sein Geheimnis stehe ihm an der Stirn und alle Leute könnten es lesen. Mit jeder Minute, die verstrich, ward er unruhiger, banger und ungestümer. Die Sorge beschlich ihn, daß seine stürmischen Vorsätze an der stillen Kraft des Mädchens scheitern möchten, und um sich den Mut zu stärken, redete er sich durch heftige Ausfälle gegen Sor Beppe und alle, die es mit ihm hielten, in eine verzweifelte Wildheit hinein, daß er zuletzt mit der Faust gegen die Wand drohte und das Messer aufhob, um alles niederzumachen, was zwischen ihm und seiner Sehnsucht stand. Indessen war es draußen still geworden, die Glocken verhallt. Plötzlich schlug Wackerlos an, in demselben Augenblicke klang unten die Haustür, und hastige Schritte huschten die Treppe herauf. Erblassend riß der Jüngling die Tür auf und sah eine verschleierte Mädchengestalt in dem helldunkeln Flur auftauchen, die sogleich den Schleier zurückschlug, als sie auf die oberste Stufe trat. Aber statt der vielgeliebten Züge, die er erwartete, erblickte er das runde Gesicht der kleinen Lalla, heute seltsam verstört, die Augen finster, der drollige Mund schmolgend aufgeworfen, mit Gebärden, wie er sie nie an ihr wahrgenommen hatte.

Sie trat dicht an den Jüngling heran, der vor Schrecken stumm und starr am Türpfosten lehnte, und sagte mit einem zornigen Ton: "Ihr freut Euch nicht sonderlich, mich zu sehen, mein braver Sor Giovanni. Dankt Gott, wenn Ihr mit keiner härteren Strafe für Eure Abscheulichkeiten büßen müßt. Mit Euch freilich hätte ich kein Mitleid. Ihr seid gewissenlos und selbstsüchtig wie alle Männer, und mag die Welt zugrunde gehen, wenn Ihr nur Euer Spielzeug habt. Aber wenn *sie* um Euch leiden müßte – wehe Euch!"

Sie ging rasch in das Zimmer hinein, und er folgte wie betäubt. "Ei", sagte sie, nach einem scharfen Blick auf die Früchte und den Wein und die ausgesuchte Anordnung aller Möbel, "das ist ja hübsch zurechtgemacht, einer armen Närrin vollends den Kopf zu verdrehen. Ist gar ein Schlaftrunk in jenem Wein? Schade, daß so viele Mühe und List verschwendet ist. Denn um es gleich zu sagen: Nie wird Annina einen Fuß über diese Schwelle setzen. Habt Ihr verstanden, mein sauberer Herr?"

"Lalla", rief er, "um Gottes willen, was ist geschehen, was soll ich von deinen Reden und deiner Miene denken? Was ist's mit Annina? Welcher Schändliche hat –"

"Still!" unterbrach sie ihn; "Euer Zorn ist ruchlos. Es gibt hier nur *einen* Schändlichen, und der seid Ihr, ja Ihr, trotz Eurem sanften Gesicht und Euren unschuldigen blonden Haaren. Und Ihr habt keine Ausrede, nicht die kleinste, denn ich hab' Euch nichts verschwiegen und habe für das unglückliche Ding gebeten, daß Ihr Euch erbarmen solltet. Ihr und erbarmen? Ein Mann und Gewissen haben! Nun ist es gekommen, wie ich

fürchtete.”

“Was? Was?” drängte er außer sich.

“Ihr sollt es wissen”, sprach sie ruhiger, “nichts will ich Euch schenken, obwohl ich leider weiß, daß selbst das Ärgste, was ein Mädchen um Euch leiden kann, Euch minder schmerzt, als es Eurer Selbstsucht schmeichelt. Denn wußtet Ihr nicht, daß Ihr Anninas Schicksal erschwertet, wenn Ihr sie widersaht? Und dennoch waret Ihr bei Regen und Sonnenschein in Via Vittoria wie ein Prellpfahl, der nicht von der Stelle kann, und dennoch nahmt Ihr den Augenblick wahr, als sie mit dem Wetter kämpfte, Euch heranzustehlen, wo sie nicht enttrinnen konnte, und ihr die größten Torheiten abzulisten? Oh, Ihr mit den treuherzigen Augen und dem Basiliskenherzen! Wenn man das Messer Euch in die Brust stieße und nach einem Herzen grübe, einen Stein würde man finden.”

Er faßte sie an beiden Schultern und schüttelte die kleine Gestalt wie ein Unsinniger. “Sag es, sag es”, rief er dumpf, “und foltere mich nicht länger mit deinem Geschwätz. Ist sie krank, ist sie tot? Hat man sie eingesperrt und zum Wahnsinn gebracht durch Mißhandlungen?”

Seine Heftigkeit schien sie milder gegen ihn zu stimmen. Sie machte sich von ihm los, setzte sich auf einen Sessel und sagte ohne weitere Umschweife: “Sie ist krank, und *Ihr* habt sie krank gemacht, und darum kommt sie nicht; nun wißt Ihr’s. Gestern Abend ließ sie mich rufen. Ich hatte sie, da so wüstes Wetter war, viele Tage nicht besucht, und überhaupt war sie kälter gegen mich geworden, seit sie Geheimnisse vor mir hatte. Nun lief ich doch in aller Eile hin, denn mir ahnte gleich Böses. Sie war so zart von Jugend auf, nie krank, aber jeder sah es ihr an, daß sie aus anderem Stoff gemacht war als die meisten. Wie ich nun bei ihr eintrete, find’ ich sie im Bette, das Gesicht wie verwandelt durch das grausame Fieber, das ihr in allen Adern kochte; aber sie erkannte mich gleich und schickte den Vater hinaus und rief mich ganz nahe an ihr Kopfkissen, daß mir von ihrem glühenden Atem bald die Augen brannten, außer von den Tränen. ‘Lalla’, sagte sie, ‘ich wollte morgen zu ihm gehen, ich habe es ihm neulich fest versprochen, damit er doch, wenn wir uns trennten, mein Bild hätte. Unter der Kirche wollte ich es tun, da Sor Beppe grade verreist ist. Wäre es denn eine Sünde gewesen?’ sagte sie. ‘Und nun denk, am Abend vor seiner Abreise führt mich Beppe noch einmal spazieren durch die Stadt, und unversehens tritt er mit mir in San Carlo hinein, wo in der einen Kapelle die Madonna steht, die mir damals half, als ich die Blattern hatte, daß mein Gesicht hernach wieder glatt wurde. Und wie wir so ganz allein vor ihrem Altar stehen, nimmt er plötzlich meine rechte Hand, legt sie an das Kleid der Mutter Gottes und sagt: ‘Bei dieser allerheiligsten Madonna schwöre mir, Annina, daß du den Deutschen nicht wiedersehen willst, daß du, solange ich fort bin, ihm

ausweichen willst, wenn er dir von weitem begegnen sollte, daß du versuchen willst, ihn ebenso zu hassen, wie ich ihn hasse!’ – Das sagte er mit erstickter Stimme, und seine Augen funkelten. Ich war sprachlos. Also wußte er, daß ich mit Hans gesprochen hatte, sie hatten ihn gut bedient, seine Spione. Ich aber konnte es nicht über meine Lippen bringen, was er von mir verlangte. Und er, nachdem er eine Weile gewartet hatte: ‘Mädchen’, sagte er, ‘du kennst mich noch nicht. Ich bin sanft wie ein Lamm, aber wer einen Finger nach dir aufhebt, gießt mir siedendes Pech ins Blut. Ich habe den Menschen bisher geschont, obwohl er schamlos genug mich herausforderte. Denn solange ich bei dir bin, lache ich dieses tückischen Gesellen. Aber da ich fort muß, kann es nicht so weitergehen, und ich fordere den Schwur von dir, oder ich muß den Buben auf andere Art unschädlich machen.’ – ‘Lalla, was sollte ich tun?’ sagte sie. ‘Ich schwur bei der Madonna alles, was er verlangt hatte. Denn ich wußte wohl, daß er nichts scheut in seiner rasenden Eifersucht und Giovanni mit kaltem Blute hätte umbringen lassen. Aber am anderen Tag, als Beppe fort und ich in meiner Kammer allein war, fiel ich in Verzweiflung, daß ich geschworen hatte. War es denn zuviel, was ich vom Glück gehofft hatte, eh’ ich mein Leben lang elend wurde? Nur zwei Stunden noch mit ihm zusammen sein, daß er mein Gesicht in sein Buch zeichnen könnte! Und er hat es mir versprochen’, sagte sie, ‘von Liebe sollte nicht zwischen uns die Rede sein. Wozu auch? Wir wissen es ja doch! Und wenn ich nun ausbliebe, was sollte er denken?’ sagte sie; ‘zu schreiben aber schämte ich mich, wenn ich schreibe so schlecht und hatte niemand, dem ich’s in die Feder diktieren konnte. Oh, der Schwur, Lalla! Vierundzwanzig Stunden vergingen, daß ich mir die Worte, die ich beschworen hatte, immer wieder vorsagte, ob ich nicht einen Sinn fände, der mich freiließe. Aber ich war von allen Seiten gefangen. Und grade bei dieser Madonna hatte er mich’s geloben lassen’, sagte sie, ‘bei dieser, die mir damals beigestanden! Kein Priester hätte mich von dem Eide losgemacht, nicht einmal der Papst, das sah ich ein. Als nun aber der Freitagabend herankam und meine Todesangst und Qual mir fast das Herz abdrückte, ging ich zu der alten Frau in der Chiavica del Buffalo’ – das ist nämlich eine Kartenschlägerin”, schaltete Lalla ein, “die immer Rat weiß, aber ein arges Weib, und wehe! daß Annina zu der gegangen ist! – ‘und wie ich der Alten alles gesagt hatte, ohne Namen zu nennen, nur daß ich bei der Madonna in San Carlo beschworen hatte, etwas zu unterlassen, das aber keine Sünde sei, und ob es keine Hilfe gäbe, riet sie mir, die Treppe beim Lateran dreimal hinaufzuklimmen und hernach der Madonna ein neues Kleid zu schenken, daß sie mir das Gelübde nachließe. Und nun, Lalla, kam die Nacht, und ich stahl mich in das arge Unwetter hinaus und lief, den Mantel überm Kopf, durch den kalten Regen nach dem Lateran. Die Stufen waren wie

Kaskaden', sagte sie, 'und ich fühlte, wie es mir eisig an die Knie spülte, und dennoch trieb es mich in der furchtbaren Öde und Finsternis, die Buße zu vollbringen, und ich betete, als wäre es meine letzte Stunde. – Als es drei schlug vom Glockenturm, war es getan, und ich dankte Gott, denn meine Kräfte loschen aus wie ein Licht. Eine ganze Stunde noch mußte ich droben im Portal hinsitzen, bis mich die Knie heimtragen konnten. Und, Lalla, nun kommt das Ärgste', sagte sie und richtete sich dabei im Bett halb auf, so ergriff sie der Schmerz. 'Denn als ich zu Hause war und alles überstanden hatte, und selbst die Eltern hatten nichts gemerkt, da hörte ich deutlich in mir eine Stimme, daß alles umsonst gewesen, daß es dennoch unrecht sei, und ich müsse der Madonna mein Gelübde halten, sollte ich darum zugrunde gehen. Lalla, das warf mich nieder; und seitdem liege ich hier im Fieber, und Gott weiß, ob ich je wieder aufstehen werde!' "

Lalla schwieg und stützte eine Weile das Gesicht in die Hand; sie zitterte von Kopf bis zu Fuß vor heftiger Erregung. Als sie endlich zu dem Jüngling wieder aufsah, der bewegungslos an der Wand lehnte, erschrak sie vor dem Eindruck, den ihre Worte auf seinem Gesicht zurückgelassen hatten. "Signor 'Annes'", sagte sie und stand auf, "nun wißt Ihr alles. Ich sollte es Euch verschweigen, bat Annina, und nur sagen, daß sie dem Beppe jenen Schwur getan, gezwungen und mit Schmerzen. Ihren Abschied sollte ich Euch bringen und Euch ersuchen, die Stadt zu verlassen. Aber ich dachte, eine Strafe sei Euch nötig, und wenn Ihr noch einen Funken Menschlichkeit in Euch hättet, müßtet Ihr Euch wie ein armer Schächer vorkommen und eine Lehre für die Ewigkeit mit Euch nehmen. Ich sehe, daß Ihr so schlecht noch nicht seid, wie ich fürchtete; das freut mich für Euch, und wenn Ihr heute noch aus Rom weggeht, will ich Euch wieder vergeben. Ach, Sor Giovanni, wenn die Lutheraner auch beten, so betet für das arme Wesen, dem Ihr so wehe getan, daß sie das Fieber überwindet und noch nicht an die Pforte des Paradieses klopft, daß wir ihr ewig nachweinen müßten!"

Sie zog den Schleier wieder über den Kopf und schickte sich an zu gehen. Als er noch immer kein Wort sagte und auch kein Zeichen gab, daß er ihrer achtete, stand sie einen Augenblick unschlüssig, was sie tun sollte. Er dauerte sie, wie der Schmerz ihn so versteinerte. Aber sie dachte auch wieder, daß er es verdient habe, und sagte nur noch: "Ich gehe jetzt zu Annina und sehe nach, wie sie die Nacht zugebracht hat. Wenn alles gut steht, was wir hoffen wollen, komme ich um Mittag wieder an Eurem Hause vorbei und nicke Euch zu. Schüttle ich aber den Kopf, so ist es noch immer beim alten. Lebt wohl, Sor Giovanni, und betet für unseren Engel!"

Sie verließ das Zimmer, zog die Tür hinter sich zu und horchte draußen, ob er sich noch nicht bewege. Da alles still blieb, ging sie

nachdenklich die Stufen hinunter. "Die armen Kinder!" sagte sie vor sich hin. "Ach, wenn man sich liebt!"

Als sie unten aus der Tür trat, mußte sie stehenbleiben. Ein ungewöhnliches Gedränge sperrte ihr den Weg, gegenüber sah sie die Leute an den Fenstern stehen und teilnehmend die Straße hinabblicken, von wo ein langsamer Zug sich herabbewegte. Sie erkannte die vermummte Brüderschaft in den weißen Kapuzenmänteln, die in Rom die Toten zu Grabe trägt. Eine entsetzliche Ahnung überwältigte sie. "Wen bringen sie da?" fragte sie ein Mädchen, das neugierig neben sie hingetreten war und sich auf den Zehen erhob; – "Ich weiß nicht", war die Antwort. "Es muß eine Jungfrau sein, und eine schöne, daß die Menschen sich so danach drängen." – Indem näherte sich der Zug mit der Bahre, die über den Häuptern in der freien Sonne schwebte. In demselben Augenblick hörte man oben aus einem der beiden Fenster einen Hund bellen in immer heftigerem Tempo, und ein dumpfes Geheul antwortete aus der Menge der Leidtragenden. "Annina!" schrie die arme Lalla und faßte den Arm ihrer Nachbarin. Und durch das Gewühl bahnte sich eine große Dogge wütend den Weg zu dem Hause und sprang an Lalla empor und strengte sich an, sie zu der Bahre hinzuzerren, als suche sie Hilfe für die Tote. Oben aber in dem offenen Sarge lag die bleiche Mädchengestalt, einen grünen Kranz im Haar, eine Rose in den gefalteten Händen. "Wie schön sie ist, wie jung!" flüsterte es durch die Reihen des Volkes, das am Wege stand. "Benedeit sei ihre Seele. Einen schöneren Engel gab es nie!"

So wallte der Zug in der reinen Herbstsonne die Straße hinunter nach San Carlo, und vor dem Hause der Signora Pia wurde es leer; denn auch Lalla, sobald sie sich ermannen konnte, war mit Rinaldo langsam nachgegangen. In San Carlo aber, in der Kapelle, wo die Madonna stand, der sie das Gelübde getan, wollte Annina beigesetzt werden, die drei Tage lang bis zum Begräbnis. Der nächste Weg dahin führte nicht durch die Straße, wo der junge Deutsche wohnte. Aber die Träger waren zu einem Umweg genötigt worden, weil die Via Vittoria wegen einer Pflasterung gesperrt war. Der Zufall hatte es gefügt, daß die Liebende noch im Tode denselben Weg einschlug, den lebend zu gehen sie so heftig verlangt hatte.

Eine halbe Stunde darauf kam die Pia aus der Messe zurück, stieg langsam die Steintreppe hinauf und blieb auf dem obersten Absatz stehen, um Atem zu schöpfen. Sie hörte das Hündchen drinnen im Zimmer beweglich winseln und an der Tür hinaufspringen, wie es zu tun pflegte, wenn sein Herr allein ausgegangen war. Mitleidig öffnete das Weib die Tür, die unverschlossen war, und tret ein. Da sah sie den Jüngling regungslos neben dem offenen Fenster am Boden liegen, die Lippen ganz bleich, die halbgeschlossenen Augen ohne Blick, die eine Hand aufs Herz gepreßt, als wäre eine Kugel da hineingefahren. Mit einem lauten Schrei,

der das treue Tier von neuem zu kläglichem Heulen aufregte, stürzte die Wirtin zu ihrem unglücklichen jungen Gast hin, hob ihn auf und trug ihn mit Stöhnen und Keuchen aufs Bett, wo sie in ihrer Angst alles, was ihr nur einfel, versuchte, um ihn zu beleben. Erst nach langen Mühen, als sie ihm Stirn und Schläfe mit dem Weine wusch, den er für Annina gekauft hatte, schlug er die Augen müde wieder auf. Sofort sprang Wackerlos aufs Bett und leckte ihm wie toll vor Freude das Gesicht, und jetzt, als der Erwachende seinen treuen Kameraden erkannte, schien ihm das Gedächtnis plötzlich wiederzukehren, und die Ohnmacht löste sich in einem Strom von Tränen. Auch die Pia fing an zu weinen. "Der Himmel sei gepriesen", rief sie mit aufgehobenen Händen, "Ihr seid wieder am Leben, Sor Giovanni. Was habt Ihr mir für Angst gemacht! Nun trinkt von diesem Wein und eßt einen Bissen, denn sicherlich war es die Schwäche, die Euch umwarf, weil Ihr gestern nicht zu Nacht gegessen."

Eifrig und dienstfertig schenkte sie einen der Kristallbecher voll und brachte ihn dem Jüngling ans Bett. Er aber winkte ihr mit Schauern zurück und kehrte das Gesicht nach der Wand, in neue Tränen ausbrechend. Das Weib begriff von allem nichts. "Vielleicht will er schlafen", sagte sie, "und es wäre wohl das beste. Er arbeitet zu viel, der Geist läßt ihm keine Ruhe, er verzehrt sich noch." – Kopfschüttelnd verließ sie leise das Zimmer, um nach einer Weile wieder hineinzuhorchen.

Der Tag war vergangen, und ein ganzer Himmel voller Sterne sah auf das schlafende Rom herab. An dem Fenster, hinter dem der Küster von San Carlo schlief, klopfte es ganz spät, und der alte Mann steckte unwillig den Kopf in die kühle Nacht hinaus und fragte, was man begehre. Er sah einen Jüngling von einem Hündchen begleitet draußen stehen, der ihm einen Scudo bot, wenn er ihm unverzüglich die Kirche aufschließen wolle. Er habe sich der Madonna in der Kapelle verlobt, und seine Seele finde keine Ruhe, ehe er nicht an ihrem Altar hingekniet sei. Halbverschlafen und ohne weiter zu fragen, kam der Alte heraus, nahm das Geld in Empfang und ließ den späten Bittgänger ein; auch der Hund stahl sich mit durch die Pforte. Die Kirche war dunkel, bis auf das Zwielflicht der Sterne, das durch die Fenster dämmerte, und die ewige Lampe am Hauptaltar. Aber aus einer Seitenkapelle drang heller Kerzenglanz hervor; die niedrige Bahre stand dort, auf welcher Annina schlummerte, zu Füßen des Altars der Madonna. Hohe Leuchter brannten im Halbkreis umher, ein Kruzifix ragte zu Häupten. Der alte Küster, der ahnen mochte, weshalb es den Jüngling noch so spät in diese Kapelle trieb, hielt sich im Schatten der Pfeiler zurück und blickte nur verstohlen zu den Kerzen hinüber. Er sah den Fremden neben der Bahre niederknien und lange in die schönen Züge der Entschlafenen starren. Dann bemerkte er, wie er einen Ring vom

Finger zog und ihn der blassen Lieblichen an den Finger steckte und ihr dafür die Rose aus der Hand nahm. Und weiter zog er ein Blättchen aus einem Taschenbuch hervor, auf welchem ein Bildnis gezeichnet war, sein eigenes, das sie zu besitzen verlangt hatte. Er schob es sacht unter ihr Kopfkissen und neigte seine Augen dicht zu den ihren herab, als vermöchten seine Blicke die erloschene Lebensglut wieder anzufachen. Jetzt klang die Mitternacht mit langsamen Schlägen vom Turm. Der Jüngling erhob sich von den Knien und schwankte aus der Kapelle fort, ohne des Alten zu achten, der ihm mitleidig nachblickte.

Gegen Weihnachten fiel es dem jüdischen Kunsthändler ein, nachzufragen, wie es mit dem neuen Bilde stehe, das er bei dem jungen Deutschen bestellt hatte. Als er in das Atelier unter dem Dache eintrat, fand er Signora Pia dort am Fenster sitzend, mit Spinnen beschäftigt. Sie war froh, ihn zu sehen, sie hoffte, er bringe vielleicht Nachricht von ihrem Mieter, der seit vielen Wochen nicht zurückgekehrt war. Nur durch einen ihrer Gevattern, der ein kleines Bauerngut bei Olevano besaß und sie inzwischen besucht hatte, wußte sie, daß er ruhelos im Gebirge herumstreife, die Nächte in den Capannen der Hirten oder in elenden Dorfschenken zubringe und überall in den Bergen mit seinem Hündchen bekannt sei. Man halte ihn für etwas schwach im Kopf, weil er niemals lache und an keinem Orte länger als eine Nacht bleibe, wenn es auch noch so rauh auf den Klippenwegen stürme. Aber der Gevatter aus Olevano habe mit ihm gesprochen und ihn bei klarem Verstand gefunden, nur sehr traurig und menschen-scheu für seine jungen Jahre. – “Ich denke immer noch, er soll wiederkommen”, sagte die Frau. “Darum mag ich an niemand anders das Zimmer vermieten und lasse alles so, wie er es gern hatte. Seht, da stehen noch zwei Flaschen mit Wein und ein Teller voll Früchte, die er sich angeschafft hatte, falls eine Prinzessin ihn einmal besuchen würde, um seine Gemälde zu sehen. Und die große Zeichnung da an der Wand, die Ihr so lobt, hat er noch wenige Tage vor seiner Abreise da hingemacht; es ging ihm zum Verwundern von der Hand. Was es nur gewesen sein mag, das ihn so aus den Fugen brachte? Liebe war es wohl nicht, denn er war ein sehr ordentlicher junger Mensch und die Unschuld selbst, das kann ich bezeugen. Aber wer weiß, am Ende war er wirklich in eine Prinzessin verliebt. Ach, Sor Davidde, wer immer sagen könnte, womit so einem jungen Blut zu helfen wäre! Aber die jungen Leute sind wie die Mücken. Sie könnten das beste Leben von der Welt haben, – sobald sie ein Licht sehen, das sie gar nichts angeht, springen sie kopfüber in ihr Verderben, nur um Schmerzen zu haben. Und hernach hinkt so mancher halbversengt durch die Welt und weiß selbst nicht, warum. Allein wir werden’s nicht ändern, lieber Herr, und es schadet auch nichts; ein rechter Mensch flickt sich doch wieder zusammen mit Gottes Hilfe, und mit dem

Herzen ist's wie mit Arm und Bein. Wem sie einmal gebrochen sind, dem brechen sie so leicht nicht wieder. Und das ist auch ein Trost!"

1860

L'ARRABBIATA

Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Über dem Vesuv lagerte eine breite graue Nebelschicht, die sich nach Neapel hinüberdehnte und die kleinen Städte an jenem Küstenstrich verdunkelte. Das Meer lag still. An der Marine⁷⁵ aber, die unter dem hohen Sorrentiner⁷⁶ Felsenufer in einer engen Bucht angelegt ist, rührten sich schon Fischer mit ihren Weibern, die Kähne mit Netzen, die zum Fischen über Nacht draußen gelegen hatten, an großen Tauen ans Land zu ziehen. Andere rüsteten ihre Barken, richteten die Segel zu und schleppten Ruder und Segelstangen aus den großen vergitterten Gewölben vor, die, tief in den Felsen hineingebaut, über Nacht das Schiffsgerät bewahren. Man sah keinen müßig gehen; denn auch die Alten, die keine Fahrt mehr machten, reihten sich in die große Kette derer ein, die an den Netzen zogen, und hie und da stand ein Mütterchen mit der Spindel auf einem der flachen Dächer oder machte sich mit den Enkeln zu schaffen, während die Tochter dem Manne half.

“Siehst du, Rachela? Da ist unser Padre Curato”,⁷⁷ sagte eine Alte zu einem kleinen Ding von zehn Jahren, das neben ihr sein Spindelchen schwang. “Eben steigt er ins Schiff. Der Atonino soll ihn nach Capri⁷⁸ hinüberfahren. Maria Santissima,⁷⁹ was sieht der ehrwürdige Herr noch verschlafen aus!” – Und damit winkte sie mit der Hand einem kleinen, freundlichen Priester zu, der unten sich eben zurechtsetzte in der Barke, nachdem er seinen schwarzen Rock sorgfältig aufgehoben und über die Holzbank gebreitet hatte. Die anderen am Strand hielten mit der Arbeit ein, um ihren Pfarrer abfahren zu sehen, der nach rechts und links freundlich nickte und grüßte.

“Warum muß er denn nach Capri, Großmutter?” fragte das Kind. “Haben die Leute dort keinen Pfarrer, daß sie unseren borgen müssen?”

“Sei nicht so einfältig”, sagte die Alte. “Genug haben sie da, und die schönsten Kirchen und sogar einen Einsiedler, wie wir ihn nicht haben. Aber da ist eine vornehme Signora, die hat lange hier in Sorrent gewohnt und war sehr krank, daß der Padre oft zu ihr mußte mit dem Hochwürdigsten,⁸⁰ wenn sie dachten, sie übersteht keine Nacht mehr. Nun, die Heilige Jungfrau hat ihr beigestanden, daß sie wieder frisch und gesund geworden ist und hat alle Tage im Meere baden können. Als sie von hier fort ist, nach Capri hinüber, hat sie noch einen schönen Haufen Dukaten an die Kirche geschenkt und an das arme Volk und hat nicht fort wollen, sagen sie, ehe der Padre nicht versprochen hat, sie drüben zu besuchen, daß sie ihm beichten kann. Denn es ist erstaunlich, was sie auf ihn hält. Und wir können uns segnen, daß wir ihn zum Pfarrer haben, der

Gaben hat wie ein Erzbischof und dem die hohen Herrschaften nachfragen. Die Madonna sei mit ihm!“ – Und damit winkte sie zum Schiffchen hinunter, das eben abstoßen wollte.

“Werden wir klares Wetter haben, mein Sohn?” fragte der kleine Priester und sah bedenklich nach Neapel hinüber.

“Die Sonne ist noch nicht heraus”, erwiderte der Bursch. “Mit dem bißchen Nebel wird sie schon fertig werden.”

“So fahr zu, daß wir vor der Hitze ankommen.”

Antonino griff eben zu dem langen Ruder, um die Barke ins Freie zu treiben, als er plötzlich innehielt und nach der Höhe des steilen Weges hinauf sah, der von dem Städtchen Sorrent zur Marine hinabführt.

Eine schlanke Mädchengestalt ward oben sichtbar, die eilig die Steine hinabschritt und mit einem Tuch winkte. Sie trug ein Bündelchen unterm Arm, und ihr Aufzug war dürftig genug. Doch hatte sie eine fast vornehme, nur etwas wilde Art, den Kopf in den Nacken zu werfen, und die schwarze Flechte, die sie vorn über der Stirn umgeschlungen trug, stand ihr wie ein Diadem.

“Worauf warten wir?” fragte der Pfarrer.

“Es kommt da noch jemand auf die Barke zu, der auch wohl nach Capri will. Wenn Ihr erlaubt, Padre – es geht darum nicht langsamer, denn’s ist nur ein junges Ding von kaum achtzehn Jahren.”

In diesem Augenblick trat das Mädchen hinter der Mauer hervor, die den gewundenen Weg einfaßt. “Laurella?” sagte der Pfarrer. “Was hat sie in Capri zu tun?”

Antonino zuckte die Achseln. – Das Mädchen kam mit hastigen Schritten heran und sah vor sich hin.

“Guten Tag, l’Arrabbiata!”⁸¹ riefen einige von den jungen Schiffern. Sie hätten wohl noch mehr gesagt, wenn die Gegenwart des Curato sie nicht in Respekt gehalten hätte; denn die Art, in der das Mädchen ihren Gruß hinnahm, schien die Übermütigen zu reizen.

“Guten Tag, Laurella”, rief nun auch der Pfarrer. “Wie steht’s? Willst du mit nach Capri?”

“Wenn’s erlaubt ist, Padre!”

“Frage den Antonino, der ist der Patron der Barke, ist jeder doch Herr seines Eigentums und Gott Herr über uns alle.”

“Da ist ein halber Karlin”,⁸² sagte Laurella, ohne den jungen Schiffer anzusehen. “Wenn ich dafür mit kann.”

“Du kannst’s besser brauchen als ich”, brummte der Bursch und schob einige Körbe Orangen zurecht, daß Platz wurde. Er sollte sie in Capri verkaufen, denn die Felseninsel trägt nicht genug für den Bedarf der vielen Besucher.

“Ich will nicht umsonst mit”, erwiderte das Mädchen, und die

schwarzen Augenbrauen zuckten.

“Komm nur, Kind”, sagte der Pfarrer. “Er ist ein braver Junge und will nicht reich werden von deinem bißchen Armut. Da, steig ein” – und er reichte ihr die Hand – “und setz dich hier neben mich. Sieh, da hat er dir seine Jacke hingelegt, daß du weicher sitzen sollst. Mir hat er’s nicht so gut gemacht. Aber junges Volk, das treibt’s immer so. Für ein kleines Frauenzimmer wird mehr gesorgt als für zehn geistliche Herren. Nun, nun, brauchst dich nicht zu entschuldigen, Tonino; ‘s ist unsers Herrgotts Einrichtung, daß sich gleich zu gleich hält.”

Laurella war inzwischen eingestiegen und hatte sich gesetzt, nachdem sie die Jacke, ohne ein Wort zu sagen, beiseite geschoben hatte. Der junge Schiffer ließ sie liegen und murmelte was zwischen den Zähnen. Dann stieß er kräftig gegen den Uferdamm, und der kleine Kahn flog in den Golf hinaus.

“Was hast du da im Bündel?” fragte der Pfarrer, während sie nun übers Meer hintrieben, das sich eben von den ersten Sonnenstrahlen lichtete.

“Seide, Garn und ein Brot, Padre. Ich soll die Seide an eine Frau in Capri verkaufen, die Bänder macht, und das Garn an eine andere.”

“Hast du’s selbst gesponnen?”

“Ja, Herr.”

“Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch gelernt, Bänder machen.”

“Ja, Herr. Aber es geht wieder schlimmer mit der Mutter, daß ich nicht aus dem Hause kann, und einen eigenen Webstuhl können wir nicht bezahlen.”

“Geht schlimmer! Oh, oh! Da ich um Ostern bei euch war, saß sie doch auf.”

“Der Frühling ist immer die böseste Zeit für sie. Seit wir die großen Stürme hatten und die Erdstöße, hat sie immer liegen müssen vor Schmerzen.”

“Laß nicht nach mit Beten und Bitten, mein Kind, daß die Heilige Jungfrau Fürbitte tut. Und sei brav und fleißig, damit dein Gebet erhört werde.”

Nach einer Pause: “Wie du zum Strand herunterkamst, riefen sie dir zu: ‘Guten Tag, l’Arrabbiata!’ Warum heißen sie dich so? Es ist kein schöner Name für eine Christin, die sanft sein soll und demütig.”

Das Mädchen glühte über das ganze braune Gesicht, und ihre Augen funkelten.

“Sie haben ihren Spott mit mir, weil ich nicht tanze und singe und viel Redens mache wie andere. Sie sollten mich gehen lassen; ich tu’ ihnen ja nichts.”

“Du könntest aber freundlich sein zu jedermann. Tanzen und singen mögen andere, denen das Leben leichter ist. Aber ein gutes Wort geben, schickt sich auch für einen Betrüben.”

Sie sah vor sich nieder und zog die Brauen dichter zusammen, als wollte sie ihre schwarzen Augen darunter verstecken. Eine Weile führen sie schweigend dahin. Die Sonne stand nun prächtig über dem Gebirge, die Spitze des Vesuvs ragte über die Wolkenschicht heraus, die noch den Fuß umzogen hielt, und die Häuser auf der Ebene von Sorrent blinkten weiß aus den grünen Orangengärten hervor.

“Hat jener Maler nichts wieder von sich hören lassen, Laurella, jener Neapolitaner, der dich zur Frau haben wollte?” fragte der Pfarrer.

Sie schüttelte den Kopf.

“Er kam damals, ein Bild von dir zu machen. Warum hast du’s ihm abgeschlagen?”

“Wozu wollt’ er es nur? Es sind andere schöner als ich. Und dann wer weiß, was er damit getrieben hätte. Er hätte mich damit verzaubern können und meine Seele beschädigen oder mich gar zu Tode bringen, sagte die Mutter.”

“Glaube nicht so sündliche Dinge”, sprach der Pfarrer ernsthaft. “Bist du nicht immer in Gottes Hand, ohne dessen Willen dir kein Haar vom Haupte fällt? Und soll ein Mensch mit so einem Bild in der Hand stärker sein als der Herrgott? – Zudem konntest du ja sehen, daß er dir wohlwollte. Hätte er dich sonst heiraten wollen?”

Sie schwieg.

“Und warum hast du ihn ausgeschlagen? Es soll ein braver Mann gewesen sein und ganz stattlich und hätte dich und deine Mutter besser ernähren können, als du es nun kannst mit dem bißchen Spinnen und Seidewickeln.”

“Wir sind arme Leute”, sagte sie heftig, “und meine Mutter nun gar seit so lange krank. Wir wären ihm nur zur Last gefallen. Und ich taue auch nicht für einen Signore. Wenn seine Freunde zu ihm gekommen wären, hätte er sich meiner geschämt.”

“Was du auch redest! Ich sage dir ja, daß es ein braver Herr war. Und überdies wollte er doch nach Sorrent übersiedeln. Es wird nicht bald so einer wiederkommen, der wie recht vom Himmel geschickt war, um euch aufzuhelfen.”

“Ich will gar keinen Mann, niemals!” sagte sie ganz trotzig und wie vor sich hin.

“Hast du ein Gelübde getan oder willst in ein Kloster gehn?”

Sie schüttelte den Kopf.

“Die Leute haben recht, die dir deinen Eigensinn vorhalten, wenn auch jener Name nicht schön ist. Bedenkst du nicht, daß du nicht allein auf

der Welt bist und durch diesen Starrsinn deiner kranken Mutter das Leben und ihre Krankheit nur bitterer machst? Was kannst du für wichtige Gründe haben, jede rechtschaffene Hand abzuweisen, die dich und deine Mutter stützen will? Antworte mir, Laurella!”

“Ich habe wohl einen Grund”, sagte sie leise und zögernd. “Aber ich kann ihn nicht sagen.”

“Nicht sagen? Auch mir nicht? Nicht deinem Beichtvater, dem du doch sonst wohl zutraust, daß er es gut mit dir meint? Oder nicht?”

Sie nickte.

“So erleichtere dein Herz, Kind. Wenn du recht hast, will ich der erste sein, dir recht zu geben. Aber du bist jung und kennst die Welt wenig, und es möchte dich später einmal gereuen, wenn du um kindischer Gedanken willen dein Glück verscherzt hast.”

Sie warf einen flüchtigen scheuen Blick nach dem Burschen hinüber, der emsig rudern hinten im Kahn saß und die wollene Mütze tief in die Stirn gezogen hatte. Er starrte zur Seite ins Meer und schien in seine eigenen Gedanken versunken zu sein. Der Pfarrer sah ihren Blick und neigte sein Ohr näher zu ihr.

“Ihr habt meinen Vater nicht gekannt”, flüsterte sie, und ihre Augen sahen finster.

“Deinen Vater? Er starb, denk’ ich, da du kaum zehn Jahr alt warst. Was hat dein Vater, dessen Seele im Paradies sein möge, mit deinem Eigensinn zu schaffen?”

“Ihr habt ihn nicht gekannt, Padre, Ihr wißt nicht, daß er allein schuld ist an der Krankheit der Mutter.”

“Wie das?”

“Weil er sie mißhandelt hat und geschlagen und mit Füßen getreten. Ich weiß noch die Nächte, wenn er nach Hause kam und war in Wut. Sie sagte ihm nie ein Wort und tat alles, was er wünschte. Er aber schlug sie, daß mir das Herz brechen wollte. Ich zog dann die Decke über den Kopf und tat, als ob ich schlief, weinte aber die ganze Nacht. Und wenn er sie dann am Boden liegen sah, verwandelt’ er sich plötzlich und hob sie auf und küßte sie, daß sie schrie, er werde sie ersticken. Die Mutter hat mir verboten, daß ich nie ein Wort davon sagen soll; aber es griff sie so an, daß sie nun die langen Jahre, seit er tot ist, noch nicht wieder gesund geworden ist. Und wenn sie früh sterben sollte, was der Himmel verhüte, ich weiß wohl, wer sie umgebracht hat.”

Der kleine Priester wiegte das Haupt und schien unschlüssig, wieweit er seinem Beichtkind recht geben sollte. Endlich sagte er: “Vergib ihm, wie ihm deine Mutter vergeben hat. Hefte nicht deine Gedanken an jene traurigen Bilder, Laurella. Es werden bessere Zeiten für dich kommen und dich alles vergessen machen.”

“Nie vergess’ ich das”, sagte sie und schauerte zusammen. “Und wißt, Padre, darum will ich eine Jungfrau bleiben, um keinem untertänig zu sein, der mich mißhandelte und dann lieb kostete. Wenn mich jetzt einer schlagen oder küssen will, so weiß ich mich zu wehren. Aber meine Mutter durfte sich schon nicht wehren, nicht der Schläge erwehren und nicht der Küsse, weil sie ihn lieb hatte. Und ich will keinen so lieb haben, daß ich um ihn krank und elend würde.”

“Bist du nun nicht ein Kind und sprichst wie eine, die nichts weiß von dem, was auf Erden geschieht? Sind denn alle Männer wie dein armer Vater war, daß sie jeder Laune und Leidenschaft nachgeben und ihren Frauen schlecht begegnen? Hast du nicht rechtschaffene Menschen genug gesehn in der ganzen Nachbarschaft und Frauen, die in Frieden und Einigkeit mit ihren Männern leben?”

“Von meinem Vater wußt’ es auch niemand, wie er zu meiner Mutter war, denn sie wäre eher tausendmal gestorben, als es einem sagen und klagen. Und das alles, weil sie ihn liebte. Wenn es so um Liebe ist, daß sie einem die Lippen schließt, wo man Hilfe schreien sollte, und einen wehrlos macht gegen Ärgeres, als der ärgste Feind einem antun könnte, so will ich nie mein Herz an einen Mann hängen.”

“Ich sage dir, daß du ein Kind bist und nicht weißt, was du sprichst. Du wirst auch viel gefragt werden von deinem Herzen, ob du lieben willst oder nicht, wenn seine Zeit gekommen ist; dann hilft alles nicht, was du dir in den Kopf setzt.” – Wieder nach einer Pause: “Und jener Maler, hast du ihm auch zugetraut, daß er dir hart begegnen würde?”

“Er machte so Augen, wie ich sie bei meinem Vater gesehen habe, wenn er der Mutter abtat und sie in die Arme nehmen wollte, um ihr wieder gute Worte zu geben. Die Augen kenn’ ich. Es kann sie auch einer machen, der’s übers Herz bringt, seine Frau zu schlagen, die ihm nie was zuleide getan hat. Mir graute, wie ich die Augen wiedersah.” Darauf schwieg sie beharrlich still. Auch der Pfarrer schwieg. Er besann sich wohl auf viele schöne Sprüche, die er dem Mädchen hätte vorhalten können. Aber die Gegenwart des jungen Schiffers, der gegen das Ende der Beichte unruhiger geworden war, verschloß ihm den Mund.

Als sie nach einer zweistündigen Fahrt in dem kleinen Hafen von Capri anlangten, trug Antonino den geistlichen Herrn aus dem Kahn über die letzten flachen Wellen und setzte ihn ehrerbietig ab. Doch hatte Laurella nicht warten wollen, bis er wieder zurückwatete und sie nachholte. Sie nahm ihr Röckchen zusammen, die Holzpantöffelchen in die rechte, das Bündel in die linke Hand und plätscherte hurtig ans Land.

“Ich bleibe heute wohl lange auf Capri”, sagte der Padre, “und du brauchst nicht auf mich zu warten. Vielleicht komm’ ich gar erst morgen nach Haus. Und du, Laurella, wenn du heimkommst, grüße die Mutter. Ich

besuche euch in dieser Woche noch. Du fährst doch noch vor der Nacht zurück?”

“Wenn Gelegenheit ist”, sagte das Mädchen und machte sich an ihrem Rock zu schaffen.

“Du weißt, daß ich auch zurück muß”, sprach Antonino, wie er meinte, in sehr gleichgültigem Ton. “Ich wart’ auf dich bis Ave-Maria. Wenn du dann nicht kommst, soll mir’s auch gleich sein.”

“Du mußt kommen, Laurella”, fiel der kleine Herr ein. “Du darfst deine Mutter keine Nacht allein lassen. – Ist’s weit, wo du hin mußt?”

“Auf Anacapri, in eine Vigne.”⁸³

“Und ich muß auf Capri zu. Behüt dich Gott, Kind, und dich, mein Sohn!”

Laurella küßte ihm die Hand und ließ ein Lebtwohl fallen, in das sich der Padre und Antonino teilen mochten. Antonino indessen eignete sich’s nicht zu. Er zog seine Mütze vor dem Padre und sah Laurella nicht an.

Als sie ihm aber beide den Rücken gekehrt hatten, ließ er seine Augen nur kurze Zeit mit dem geistlichen Herrn wandern, der über das tiefe Kieselgeröll mühsam hinschritt, und schickte sie dann dem Mädchen nach, das sich rechts die Höhe hinauf gewandt hatte, die Hand über die Augen haltend gegen die scharfe Sonne. Eh’ sich der Weg oben zwischen Mauern zurückzog, stand sie einen Augenblick still, wie um Atem zu schöpfen, und sah sich um. Die Marine lag zu ihren Füßen, ringsum türmte sich der schroffe Fels, das Meer blaute in seltener Pracht – es war wohl ein Anblick, des Stehenbleibens wert. Der Zufall fügte es, daß ihr Blick, bei Antoninos Barke vorübereilend, sich mit jenem Blick begegnete, den Antonino ihr nachgeschickt hatte. Sie machten beide eine Bewegung wie Leute, die sich entschuldigen wollen, es sei etwas nur aus Versehen geschehen, worauf das Mädchen mit finstern Munde ihren Weg fortsetzte.

* * *

Es war erst eine Stunde nach Mittag, und schon saß Antonino zwei Stunden lang auf einer Bank vor der Fischerschenke. Es mußte ihm was durch den Sinn gehen, denn alle fünf Minuten sprang er auf, trat in die Sonne hinaus und überblickte sorgfältig die Wege, die links und rechts nach den zwei Inselstädtchen führten. Das Wetter sei ihm bedenklich, sagte er dann zu der Wirtin der Osterie. Es sei wohl klar, aber er kenne diese Farbe des Himmels und des Meeres. Gerade so hab’ es ausgesehen, eh’ der letzte große Sturm war, wo er die englische Familie nur mit Not ans Land gebracht habe. Sie werde sich erinnern.

“Nein”, sagte die Frau.

Nun, sie solle an ihn denken, wenn sich’s noch vor Nacht verändere.

“Sind viele Herrschaften drüben?” fragte die Wirtin nach einer Weile.

“Es fängt eben an. Bisher hatten wir schlechte Zeit. Die wegen der Bäder kommen, ließen auf sich warten.”

“Das Frühjahr kam spät. Habt ihr mehr verdient als wir hier auf Capri?”

“Es hätte nicht ausgereicht, zweimal die Woche Maccaroni zu essen, wenn ich bloß auf die Barke angewiesen wäre. Dann und wann einen Brief nach Neapel zu bringen oder einen Signore aufs Meer gerudert, der angeln wollte – das war alles. Aber Ihr wißt, daß mein Onkel die großen Orangengärten hat und ein reicher Mann ist. ‘Tonino’, sagt er, ‘solang ich lebe, sollst du nicht Not leiden, und hernach wird auch für dich gesorgt werden.’ So hab’ ich den Winter mit Gottes Hilfe überstanden.”

“Hat er Kinder, Euer Onkel?”

“Nein. Er war nie verheiratet und lange außer Landes, wo er denn manchen guten Piaster zusammengebracht hat. Nun hat er vor, eine große Fischerei anzufangen, und will mich über das ganze Wesen setzen, daß ich nach dem Rechten sehe.”

“So seid Ihr ja ein gemachter Mann, Antonino.”

Der junge Schiffer zuckte die Achseln. “Es hat jeder sein Bündel zu tragen”, sagte er. Damit sprang er auf und sah wieder links und rechts nach dem Wetter, obwohl er wissen mußte, daß es nur eine Wetterseite gibt.

“Ich bring’ Euch noch eine Flasche. Euer Onkel kann’s bezahlen”, sagte die Wirtin.

“Nur noch ein Glas, denn Ihr habt hier eine feurige Art Wein. Der Kopf ist mir schon ganz warm.”

“Er geht nicht ins Blut. Ihr könnt trinken, soviel Ihr wollt. Da kommt eben mein Mann, mit dem müßt Ihr noch eine Weile sitzen und schwatzen.”

Wirklich kam, das Netz über die Schulter gehängt, die rote Mütze über den geringelten Haaren, der stattliche Padrone der Schenke von der Höhe herunter. Er hatte Fische in die Stadt gebracht, die jene vornehme Dame bestellt hatte, um sie dem kleinen Pfarrer von Sorrent vorzusetzen. Wie er des jungen Schiffers ansichtig wurde, winkte er ihm herzlich mit der Hand ein Willkommen zu, setzte sich dann neben ihn auf die Bank und fing an zu fragen und zu erzählen. Eben brachte sein Weib eine zweite Flasche des echten unverfälschten Capri,⁸⁴ als der Ufersand zur Linken knisterte und Laurella des Weges von Anacapri daherkam. Sie grüßte flüchtig mit dem Kopf und stand unschlüssig still.

Antonino sprang auf. "Ich muß fort", sagte er; " 's ist ein Mädchen aus Sorrent, das heute früh mit dem Signor Curato kam und auf die Nacht wieder zu ihrer kranken Mutter will."

"Nun, nun, 's ist noch lang bis Nacht", sagte der Fischer. "Sie wird doch Zeit haben, ein Glas Wein zu trinken. Holla, Frau, bring noch ein Glas."

"Ich danke, ich trinke nicht", sagte Laurella und blieb in einiger Entfernung.

"Schenk nur ein, Frau, schenk ein! Sie läßt sich nötigen."

"Laßt sie", sagte der Bursch. "Sie hat einen harten Kopf, was sie einmal nicht will, das redet ihr kein Heiliger ein." – Und damit nahm er eilfertig Abschied, lief nach der Barke hinunter, löste das Seil und stand in Erwartung des Mädchens. Die grüßte noch einmal nach den Wirten der Schenke zurück und ging dann mit zaudernden Schritten der Barke zu. Sie sah sich vorher nach allen Seiten um, als erwarte sie, daß sich noch andere Gesellschaft einfinden würde. Die Marine aber war menschenleer; die Fischer schliefen oder fuhren im Meer mit Angeln und Netzen, wenige Frauen und Kinder saßen unter den Türen, schlafend oder spinnend, und die Fremden, die am Morgen herübergefahren, warteten die kühlere Tageszeit zur Rückfahrt ab. Sie konnte auch nicht zu lange umschauen, denn eh' sie es wehren konnte, hatte Antonino sie in die Arme genommen und trug sie wie ein Kind in den Nachen. Dann sprang er nach, und mit wenigen Ruderschlägen waren sie schon im offenen Meer.

Sie hatte sich vorn in den Kahn gesetzt und ihm halb den Rücken zugekehrt, daß er sie nur von der Seite sehen konnte. Ihre Züge waren jetzt noch ernster als gewöhnlich. Über die kurze Stirn hing das Haar tief herein, um den feinen Nasenflügel zitterte ein eigensinniger Zug, der volle Mund war fest geschlossen. – Als sie eine Zeitlang so stillschweigend über das Meer gefahren waren, empfand sie den Sonnenbrand, nahm das Brot aus dem Tuch und schlang dieses über die Flechte. Dann fing sie an, von dem Brot zu essen und ihr Mittagmahl zu halten; denn sie hatte auf Capri nichts genossen. Antonino sah das nicht lange mit an. Er holte aus einem der Körbe, der am Morgen mit Orangen gefüllt gewesen, zwei hervor und sagte: "Da hast du was zu deinem Brote, Laurella. Glaub' nicht, daß ich sie für dich zurückbehalten habe. Sie sind aus dem Korb in den Kahn gerollt, und ich fand sie, als ich die leeren Körbe wieder in die Barke setzte."

"Iß du sie doch. Ich hab' an meinem Brote genug."

"Sie sind erfrischend in der Hitze, und du bist weit gelaufen."

"Sie gaben mir oben ein Glas Wasser, das hat mich schon erfrischt."

"Wie du willst", sagte er und ließ sie wieder in den Korb fallen.

Neues Stillschweigen. Das Meer war spiegelglatt und rauschte kaum um den Kiel. Auch die weißen Seevögel, die in den Uferhöhlen nisten, zogen lautlos auf ihren Raub.

“Du könntest die zwei Orangen deiner Mutter bringen”, fing Antonino wieder an.

“Wir haben ihrer noch zu Haus, und wenn sie zu Ende sind, geh’ ich und kaufe neue.”

“Bringe sie nur, und ein Kompliment von mir.”

“Sie kennt dich ja nicht.”

“So könntest du ihr sagen, wer ich bin.”

“Ich kenne dich auch nicht.”

Es war nicht das erstemal, daß sie ihn so verleugnete. Vor einem Jahr, als der Maler eben nach Sorrent gekommen war, traf sich’s an einem Sonntage, daß Antonino mit anderen jungen Burschen aus dem Ort auf einem freien Platz neben der Hauptstraße Boccia⁸⁵ spielte. Dort begegnete der Maler zuerst Laurella, die, einen Wasserkrug auf dem Kopfe tragend, ohne seiner zu achten, vorüberschritt. Der Neapolitaner, von dem Anblick betroffen, stand und sah ihr nach, obwohl er sich mitten in der Bahn des Spieles befand und mit zwei Schritten sie hätte räumen können. Eine unsanfte Kugel, die ihm gegen das Fußgelenk fuhr, mußte ihn daran erinnern, daß hier der Ort nicht sei, sich in Gedanken zu verlieren. Er sah sich um, als erwarte er eine Entschuldigung. Der junge Schiffer, der den Wurf getan hatte, stand schweigend und trotzig inmitten seiner Freunde, daß der Fremde es geraten fand, einen Wortwechsel zu vermeiden und zu gehen. Doch hatte man von dem Handel gesprochen und sprach von neuem davon, als der Maler sich offen um Laurella bewarb. “Ich kenne ihn nicht”, sagte diese unwillig, als der Maler sie fragte, ob sie ihn jenes unhöflichen Burschen wegen ausschlage. Und doch war auch ihr jenes Gerede zu Ohren gekommen. Seitdem, wenn ihr Antonino begegnete, hatte sie ihn doch wohl wiedererkannt.

Und nun saßen sie im Kahn wie die bittersten Feinde, und beiden klopfte das Herz tödlich. Das sonst gutmütige Gesicht Antoninos war heftig gerötet; er schlug in die Wellen, daß der Schaum ihn überspritzte, und seine Lippen zitterten zuweilen, als spräche er böse Worte. Sie tat, als bemerke sie es nicht, und machte ihr unbefangenes Gesicht, neigte sich über den Bord des Nachens und ließ die Flut durch ihre Finger gleiten. Dann band sie ihr Tuch wieder ab und ordnete ihr Haar, als sei sie ganz allein im Kahn. Nur die Augenbrauen zuckten noch, und umsonst hielt sie die nassen Hände gegen ihre brennenden Wangen, um sie zu kühlen. Nun waren sie mitten auf dem Meer, und nah und fern ließ sich kein Segel blicken. Die Insel war zurückgeblieben, die Küste lag im Sonnenduft weitab, nicht einmal eine Möwe durchflog die tiefe Einsamkeit, Antonino

sah um sich her. Ein Gedanke schien in ihm aufzusteigen. Die Röte wich plötzlich von seinen Wangen, und er ließ die Ruder sinken. Unwillkürlich sah sich Laurella nach ihm um, gespannt, aber furchtlos.

“Ich muß ein Ende machen”, brach der Bursch heraus. “Es dauert mir schon zu lange und wundert mich schier, daß ich nicht drüber zugrunde gegangen bin. Du kennst mich nicht, sagst du? Hast du nicht lange genug mit angesehen, wie ich bei dir vorüberging als ein Unsinniger und hatte das ganze Herz voll, dir zu sagen? Dann machtest du deinen bösen Mund und drehtest mir den Rücken.”

“Was hatt’ ich mit dir zu reden?” sagte sie kurz. “Ich habe wohl gesehen, daß du mit mir anbinden wolltest. Ich wollt’ aber nicht in der Leute Mäuler kommen um nichts und wieder nichts. Denn zum Manne nehmen mag ich dich nicht, dich nicht und keinen.”

“Und keinen? So wirst du nicht immer sagen. Weil du den Maler weggeschickt hast? Pah! Du warst noch ein Kind damals. Es wird dir schon einmal einsam werden, und dann, toll wie du bist, nimmst du den ersten besten!”

“Es weiß keiner seine Zukunft. Kann sein, daß ich noch meinen Sinn ändere. Was geht’s dich an?”

“Was es mich angeht?” fuhr er auf und sprang von der Ruderbank empor, daß der Kahn schaukelte. “Was es mich angeht? Und so kannst du noch fragen, nachdem du weißt, wie es um mich steht? Müsse der elend umkommen, dem je besser von dir begegnet würde als mir!”

“Hab’ ich mich dir je versprochen? Kann ich dafür, wenn dein Kopf unsinnig ist? Was hast du für ein Recht auf mich?”

“Oh”, rief er aus, “es steht freilich nicht geschrieben, es hat’s kein Advokat in Latein abgefaßt und versiegelt; aber das weiß ich, daß ich soviel Recht auf dich habe, wie in den Himmel zu kommen, wenn ich ein braver Kerl gewesen bin. Meinst du, daß ich mit ansehn will, wenn du mit einem andern in die Kirche gehst, und die Mädchen gehn an mir vorüber und zucken die Achseln. Soll ich mir den Schimpf antun lassen?”

“Tu, was du willst. Ich lasse mir nicht bangen, soviel du auch drohst. Ich will auch tun, was ich will.”

“Du wirst nicht lange so sprechen”, sagte er und bebte über den ganzen Leib. “Ich bin Manns genug, daß ich mir das Leben nicht länger von solch einem Trotzkopf verderben lasse. Weißt du, daß du hier in meiner Macht bist und du tun mußt, was ich will?”

“Bringe mich um, wenn du’s wagst”, sagte sie langsam.

“Man muß nichts halb tun”, sagte er, und seine Stimme klang heiser, “ ‘s ist Platz für uns beide im Meer. Ich kann dir nicht helfen, Kind” – und er sprach fast mitleidig, wie aus dem Traum, – “aber wir müssen hinunter, alle beide, und auf einmal, und jetzt!” schrie er überlaut

und faßte sie plötzlich mit beiden Armen an. Aber im Augenblick zog er die rechte Hand zurück, das Blut quoll hervor, sie hatte ihn heftig hineingebissen.

“Muß ich tun, was du willst?” rief sie und stieß ihn mit einer raschen Wendung von sich. “Laß sehn, ob ich in deiner Macht bin!” Damit sprang sie über den Bord des Kahns und verschwand einen Augenblick in der Tiefe.

Sie kam gleich wieder herauf; ihr Röckchen umschloß sie fest, ihre Haare waren von den Wellen aufgelöst und hingen schwer über den Hals nieder, mit den Armen ruderte sie emsig und schwamm, ohne einen Laut von sich zu geben, kräftig von der Barke weg nach der Küste zu. Der jähe Schreck schien ihm die Sinne gelähmt zu haben. Er stand im Kahn, vorgebeugt, die Blicke starr nach ihr hin gerichtet, als begeben sich ein Wunder vor seinen Augen. Dann schüttelte er sich, stürzte nach den Rudern und fuhr ihr mit aller Kraft, die er aufzubieten hatte, nach, während der Boden seines Kahnes von dem strömenden Blut rot wurde.

Im Nu war er an ihrer Seite, so hastig sie schwamm. “Bei Maria Santissima!” rief er, “komm in den Kahn! Ich bin ein Toller gewesen; Gott weiß, was mir die Vernunft benebelte. Wie ein Blitz vom Himmel fuhr mir’s ins Hirn, daß ich ganz aufbrannte und wußte nicht, was ich tat und redete. Du sollst mir nicht vergeben, Laurella, nur dein Leben retten und wieder einsteigen.”

Sie schwamm fort, als habe sie nichts gehört.

“Du kannst nicht bis ans Land kommen, es sind noch zwei Miglien.⁸⁶ Denk an deine Mutter. Wenn dir ein Unglück begegnete, ich stürbe vor Entsetzen.”

Sie maß mit einem Blick die Entfernung von der Küste. Dann, ohne zu antworten, schwamm sie an die Barke heran und faßte den Bord mit den Händen. Er stand auf, ihr zu helfen; seine Jacke, die auf der Bank gelegen, glitt ins Meer, als der Nachen von der Last des Mädchens nach der einen Seite hinübergezogen wurde. Gewandt schwang sie sich empor und erklomm ihren früheren Sitz. Als er sie geborgen sah, griff er wieder zu den Rudern. Sie aber wand ihr triefendes Röckchen aus und rang das Wasser aus den Flechten. Dabei sah sie auf den Boden der Barke und bemerkte jetzt das Blut. Sie warf einen raschen Blick nach der Hand, die, als sei sie unverwundet, das Ruder führte. “Da!” sagte sie und reichte ihm ihr Tuch. Er schüttelte den Kopf und ruderte vorwärts. Sie stand endlich auf, trat zu ihm und band ihm das Tuch fest um die tiefe Wunde. Darauf nahm sie ihm, soviel er auch abwehrte, das eine Ruder aus der Hand und setzte sich ihm gegenüber, doch ohne ihn anzusehn, fest auf das Ruder blickend, das vom Blut gerötet war, und trieb mit kräftigen Stößen die Barke fort. Sie waren beide still. Als sie näher ans Land kamen,

begegneten ihnen Fischer, die ihre Netze auf die Nacht auswerfen wollten. Sie riefen Antonino an und neckten Laurella. Keins sah auf oder erwiderte ein Wort.

Die Sonne stand noch ziemlich hoch über Procida,⁸⁷ als sie die Marine erreichten. Laurella schüttelte ihr Röckchen, das fast völlig überm Meer getrocknet war, und sprang ans Land. Die alte spinnende Frau, die sie schon am Morgen hatte abfahren sehen, stand wieder auf dem Dach. "Was hast du an der Hand, Tonino?" rief sie hinunter. "Jesus Christus, die Barke schwimmt ja in Blut!"

"'s ist nichts, Comare",⁸⁸ erwiderte der Bursch. "Ich riß mich an einem Nagel, der zu weit vorsah. Morgen ist's vorbei. Das verwünschte Blut ist nur gleich bei der Hand, daß es gefährlicher aussieht, als es ist."

"Ich will kommen und dir Kräuter auflegen, Comparello."

"Bemüht euch nicht, Comare. Ist schon alles geschehn, und morgen wird's vorbei sein und vergessen. Ich habe eine gesunde Haut, die gleich wieder über jeder Wunde zuwächst."

"Addio!" sagte Laurella und wandte sich nach dem Pfad, der hinaufführt.

"Gute Nacht!" rief ihr der Bursch nach, ohne sie anzusehn. Dann trug er das Gerät aus dem Schiff und die Körbe dazu und stieg die kleine Steintreppe zu seiner Hütte hinauf.

* * *

Es war keiner außer ihm in den zwei Kammern, durch die er nun hin- und herging. Zu den offenen Fensterchen, die nur mit hölzernen Läden verschlossen werden, strich die Luft etwas erfrischender herein als über das ruhige Meer, und in der Einsamkeit war ihm wohl. Er stand auch lange vor dem kleinen Bilde der Mutter Gottes und sah die aus Silberpapier daraufgeklebte Sternenglorie andächtig an. Doch zu beten fiel ihm nicht ein. Um was hätte er bitten sollen, da er nichts mehr hoffte?

Und der Tag schien heute stillzustehen. Er sehnte sich nach der Dunkelheit, denn er war müde, und der Blutverlust hatte ihn auch mehr angegriffen, als er sich gestand. Er fühlte heftige Schmerzen an der Hand, setzte sich auf einen Schemel und löste den Verband. Das zurückgedrängte Blut schoß wieder hervor, und die Hand war stark um die Wunde angeschwollen. Er wusch sie sorgfältig und kühlte sie lange. Als er sie wieder vorzog, unterschied er deutlich die Spur von Laurellas Zähnen. "Sie hatte recht", sagte er. "Eine Bestie war ich und verdien' es nicht besser. Ich will ihr morgen das Tuch durch den Giuseppe zurückschicken. Denn mich soll sie nicht wiedersehn." – Und nun wusch er das Tuch

sorgfältig und breitete es in der Sonne aus, nachdem er sich die Hand wieder verbunden hatte, so gut er's mit der Linken und den Zähnen konnte. Dann warf er sich auf sein Bett und schloß die Augen.

Der helle Mond weckte ihn aus einem halben Schlaf, zugleich der Schmerz in der Hand. Er sprang eben wieder auf, um die pochenden Schläge des Blutes in Wasser zu beruhigen, als er ein Geräusch an seiner Tür hörte. "Wer ist da?" rief er und öffnete. Laurella stand vor ihm.

Ohne viel zu fragen, trat sie ein. Sie warf das Tuch ab, das sie über den Kopf geschlungen hatte, und stellte ein Körbchen auf den Tisch. Dann atmete sie tief.

"Du kommst, dein Tuch zu holen", sagte er; "du hättest dir die Mühe sparen können, denn morgen in der Frühe hätte ich Giuseppe gebeten, es dir zu bringen."

"Es ist nicht um das Tuch", erwiderte sie rasch. "Ich bin auf dem Berg gewesen, um dir Kräuter zu holen, die gegen das Bluten sind. Da!" Und sie hob den Deckel vom Körbchen.

"Zuviel Mühe", sagte er, und ohne alle Herbigkeit, "zuviel Mühe. Es geht schon besser, viel besser; und wenn es schlimmer ginge, ging' es auch nach Verdienst. Was willst du hier um die Zeit? Wenn dich einer hier träfe! Du weißt, wie sie schwatzen, obwohl sie nicht wissen, was sie sagen."

"Ich kümmere mich um keinen", sprach sie heftig. "Aber die Hand will ich sehen und die Kräuter darauf tun, denn mit der Linken bringst du es nicht zustande."

"Ich sage dir, daß es unnötig ist."

"So laß es mich sehen, damit ich's glaube." Sie ergriff ohne weiteres die Hand, die sich nicht wehren konnte, und band die Lappen ab. Als sie die starke Geschwulst sah, fuhr sie zusammen und schrie auf: "Jesus Maria!"

"Es ist ein bißchen aufgelaufen", sagte er. "Das geht weg in einem Tag und einer Nacht."

Sie schüttelte den Kopf: "So kannst du eine Woche lang nicht aufs Meer."

"Ich denk', schon übermorgen. Was tut's auch?"

Indessen hatte sie ein Becken geholt und die Wunde von neuem gewaschen, was er litt wie ein Kind. Dann legte sie die heilsamen Blätter des Krautes darauf, die ihm das Brennen sogleich linderten, und verband die Hand mit Streifen Leinwand, die sie mitgebracht hatte.

Als es getan war, sagte er: "Ich danke dir. Und höre, wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, vergib mir, daß mir heut so eine Tollheit über den Kopf wuchs, und vergiß das alles, was ich dir gesagt und getan habe. Ich weiß selbst nicht, wie es kam. Du hast mir nie Veranlassung

dazu gegeben, du wahrhaftig nicht. Und du sollst schon nichts wieder von mir hören, was dich kränken könnte.”

“Ich habe dir abzubitten”, fiel sie ein. “Ich hätte dir alles anders und besser vorstellen sollen und dich nicht aufbringen durch meine stumme Art. Und nun gar die Wunde –”

“Es war Notwehr und die höchste Zeit, daß ich meiner Sinne wieder mächtig wurde. Und, wie gesagt, es hat nichts zu bedeuten. Sprich nicht von Vergeben. Du hast mir wohlgetan, und das danke ich dir. Und nun geh schlafen, und da – da ist auch dein Tuch, daß du’s gleich mitnehmen kannst.”

Er reichte es ihr, aber sie stand noch immer und schien mit sich zu kämpfen. Endlich sagte sie: “Du hast auch deine Jacke eingebüßt um meinetwegen, und ich weiß, daß das Geld für die Orangen darin steckte. Es fiel mir alles erst unterwegs ein. Ich kann dir’s nicht so wieder ersetzen, denn wir haben es nicht, und wenn wir’s hätten, gehört’ es der Mutter. Aber da hab’ ich das silberne Kreuz, das mir der Maler auf den Tisch legte, als er das letztemal bei uns war. Ich hab’ es seitdem nicht angesehen und mag es nicht länger im Kasten haben. Wenn du es verkaufst – es ist wohl ein paar Piaster wert, sagte damals die Mutter –, so wäre dir dein Schaden ersetzt, und was fehlen sollte, will ich suchen, mit Spinnen zu verdienen, nachts, wenn die Mutter schläft.”

“Ich nehme nichts”, sagte er kurz und schob das blanke Kreuzchen zurück, das sie aus der Tasche geholt hatte.

“Du mußt’s nehmen”, sagte sie. “Wer weiß, wie lang du mit dieser Hand nichts verdienen kannst. Da liegt’s, und ich will’s nie wieder sehen mit meinen Augen.”

“So wirf es ins Meer.”

“Es ist ja kein Geschenk, das ich dir mache; es ist nicht mehr als dein gutes Recht und was dir zukommt.”

“Recht? Ich habe kein Recht auf irgendwas von dir. Wenn du mir später einmal begegnen solltest, tu mir den Gefallen und sieh mich nicht an, daß ich nicht denke, du erinnerst mich an das, was ich dir schuldig bin. Und nun gute Nacht, und laß es das letzte sein.”

Er legte ihr das Tuch in den Korb und das Kreuz dazu und schloß den Deckel darauf. Als er dann aufsah und ihr ins Gesicht, erschrak er. Große schwere Tropfen stürzten ihr über die Wangen. Sie ließ ihnen ihren Lauf. “Maria Santissima!” rief er, “bist du krank? Du zitterst vom Kopf bis zu Fuß.”

“Es ist nichts”, sagte sie. “Ich will heim!” und wankte nach der Tür. Das Weinen übermannte sie, daß sie die Stirn gegen den Pfosten drückte und nun laut und heftig schluchzte. Aber eh’ er ihr nach konnte, um sie zurückzuhalten, wandte sie sich plötzlich um und stürzte ihm an den Hals.

“Ich kann’s nicht ertragen”, schrie sie und preßte ihn an sich, wie sich ein Sterbender ans Leben klammert, “ich kann’s nicht hören, daß du mir gute Worte gibst und mich von dir gehen heißest mit all der Schuld auf dem Gewissen. Schlage mich, tritt mich mit Füßen, verwünsche mich! – oder, wenn es wahr ist, daß du mich liebhabst, noch, nach all dem Bösen, das ich dir getan habe, dann nimm mich und behalte mich und mach mit mir, was du willst. Aber schick mich nicht fort von dir!” – Neues, heftiges Schluchzen unterbrach sie.

Er hielt sie eine Weile sprachlos in den Armen. “Ob ich dich noch liebe?” rief er endlich. “Heilige Mutter Gottes! Meinst du, es sei all mein Herzblut aus der kleinen Wunde von mir gewichen? Fühlst du’s nicht da in meiner Brust hämmern, als wollt’ es heraus und zu dir? Wenn du’s nur sagst, um mich zu versuchen oder weil du Mitleid mit mir hast, so geh, und ich will auch das noch vergessen. Du sollst nicht denken, daß du mir’s schuldig bist, weil du weißt, was ich um dich leide.”

“Nein”, sagte sie fest und sah von seiner Schulter auf und ihm mit den nassen Augen heftig ins Gesicht, “ich liebe dich, und daß ich’s nur sage, ich hab’ es lange gefürchtet und dagegen getrotzt. Und nun will ich anders werden, denn ich kann’s nicht mehr aushalten, dich nicht anzusehen, wenn du mir auf der Gasse vorüberkommst. Nun will ich dich auch küssen”, sagte sie, “daß du dir sagen kannst, wenn du wieder in Zweifel sein solltest: Sie hat mich geküßt, und Laurella küßt keinen, als den sie zum Manne will.”

Sie küßte ihn, und dann machte sie sich los und sagte: “Gute Nacht, mein Liebster! Geh schlafen und heile deine Hand, und geh nicht mit mir, denn ich fürchte mich nicht, vor keinem, als nur vor dir.”

Damit huschte sie durch die Tür und verschwand in den Schatten der Mauer. Er aber sah noch lange durchs Fenster aufs Meer hinaus, über dem alle Sterne zu schwanken schienen.

* * *

Als der kleine Padre Curato das nächste Mal aus dem Beichtstuhl kam, in dem Laurella lange gekniet hatte, lächelte er still in sich hinein. “Wer hätte gedacht”, sagte er bei sich selbst, “daß Gott sich so schnell dieses wunderlichen Herzens erbarmen würde? Und ich machte mir noch Vorwürfe, daß ich den Dämon Eigensinn nicht härter bedrückt hatte. Aber unsere Augen sind kurzsichtig für die Wege des Himmels. Nun, so segne sie der Herr und lass mich’s erleben, daß mich Laurellas ältester Bube einmal an seines Vaters Statt übers Meer fährt! Ei, ei, ei! l’Arrabbiata!”

1853

ПОЯСНЕНИЯ

В «Пояснения» включены в основном итальянские слова (реалии и географические названия), которые могут представлять известную трудность для лиц, читающих главным образом по-немецки. Учитывая предельную ясность немецкого текста, мы предпочли воздержаться от комментариев немецкоязычных явлений.

¹ Кампанья – обширная холмистая равнина вокруг Рима.

² деревенский житель, крестьянин (*итал.*)

³ дудочник (*итал.*)

⁴ Порта Пиа – одни из городских ворот Рима.

⁵ Eminenz – высокопреосвященство, титул кардинала.

⁶ Тиволи – город к востоку от Рима.

⁷ Трамонтане – северный ветер в Италии; буквальное значение этого итальянского слова – *дующий с той стороны гор*.

⁸ Сабинские горы – известковый хребет в средней Италии, крутыми уступами спускающийся в Кампанию.

⁹ Тритон – греческий морской бог; здесь – название фонтана.

¹⁰ маленький ресторан, кабачок (*итал.*)

¹¹ Площадь Барберини

¹² дворец (*итал.*)

¹³ господин доктор (*итал.*)

¹⁴ Бианки [*читается: Бьянки*] – фамилия героя рассказа.

¹⁵ Кто знает, вспомнишь ли ты когда-нибудь обо мне? (*итал.*)

¹⁶ в «Сивилле» – *здесь*: название гостиницы.

¹⁷ Боже мой! (*англ.*)

¹⁸ Термы Каракаллы – бани, построенные при римском императоре Каракалле (211-217 гг.).

¹⁹ Имеется в виду битва при Гастингсе (1066г.) – историческое сражение, в

котором нормандские феодалы во главе с Вильгельмом Завоевателем победили англосаксов.

²⁰ Лодовико Ариосто (1474-1533) – итальянский поэт эпохи Возрождения, его главное произведение – поэма «Неистовый Роланд».

²¹ Ich tue es nicht um ein paar Paul. – Я делаю это не за деньги. Paulus (*лат.*) – мужское имя Павел (букв.: *малыш*); здесь имеется в виду мелкая монета.

²² Скудо – старинная итальянская серебряная монета.

²³ Monsignori (*итал.*, мн.ч.) – их преосвященства

²⁴ Рипетта – улица в Риме.

²⁵ Вилла Людовизи – дворец в Риме; в нём имелось хорошее собрание античных статуй, барельефов и т.п.

²⁶ Алигьери Данте (1265-1321) – великий итальянский поэт; главное, пользующееся мировой известностью произведение – поэма «Божественная комедия».

²⁷ Торквато Тассо (1544-1595) – итальянский поэт, его крупнейшее произведение – поэма «Освобождённый Иерусалим».

²⁸ Никколо Макиавелли (1469-1527) – итальянский государственный деятель и писатель; его главное произведение – политический трактат «Князь».

²⁹ Монте Пинчо – холм в северной части Рима, на котором расположен известный парк.

³⁰ Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680) – итальянский архитектор, скульптор и живописец. Много работал над художественным оформлением внешнего вида Рима. Его работы: колоннада собора Св.Петра, бюсты, скульптурно оформленные фонтаны, в том числе фонтан ди Треви.

³¹ Eccolo! (*итал.*) – Вот он!

³² пол-литра фраскатанского вина (*итал.*)

³³ извозчик (*итал.*)

³⁴ Я не зря за вас много молилась.

³⁵ Три грации – богини молодости, красоты и веселья в Древнем Риме; обычно изображались в виде трёх прекрасных девушек.

³⁶ Ну, ну. Ладно, ладно. (*итал.*)

³⁷ Собор Святого Петра.

³⁸ Улица Маргутты.

³⁹ Парка – римская богиня рока; в переносном значении – судьба.

⁴⁰ Трастевере – часть Рима на правом берегу Тибра.

⁴¹ Катрино – старинная мелкая монета в некоторых итальянских государствах до их объединения.

⁴² Der Apennin – Апеннины (горы). По-немецки употребительно как единственное, так и множественное число (die Apenninen).

⁴³ Тоскана – область в средней Италии.

⁴⁴ Kirchenstaat – государство, находившееся под верховным управлением римского папы до 1870 года, когда оно было включено в состав объединенного государства Италия.

⁴⁵ извозчик (*итал.*)

⁴⁶ огонь (*итал.*); здесь: кличка собаки

⁴⁷ полента (*итал.*) – кукурузное блюдо

⁴⁸ Порретта – небольшой населённый пункт в Италии.

⁴⁹ синьор, господин, барин (*итал.*)

⁵⁰ госпожа, хозяйка (*итал.*)

⁵¹ контрабандисты (*итал.*)

⁵² Фениче – женское имя

⁵³ содержатель кофейни (*итал.*)

⁵⁴ у церкви Св.Миньято

⁵⁵ бедняжка (*итал.*)

⁵⁶ человек чести, джентльмен, дворянин (*итал.*)

⁵⁷ проклятый (*лат.*)

⁵⁸ название кабачка

⁵⁹ В прежние времена нижний чин итальянской полиции; сыщик.

⁶⁰ Станцы Рафаэля – знаменитые фрески Рафаэля во дворце Ватикана.

⁶¹ Сикстинская капелла в Ватикане, построенная в 1474-1481 гг. при папе Сиксте IV; там находятся знаменитые фрески Перуджино, Боттичелли, Росселли, а также некоторые крупнейшие росписи Микеланджело.

⁶² колбасник (*итал.*)

⁶³ каторга (*итал.*)

⁶⁴ благословенный (*лат.*)

⁶⁵ Дельфийская сивилла (прорицательница) – фреска работы великого итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) в Сикстинской капелле.

⁶⁶ Канцона – сольная народная песня с инструментальным сопровождением

⁶⁷ Саями – сырокопчёная колбаса (*итал.*)

⁶⁸ Галиначчи – куриное блюдо (*итал.*)

⁶⁹ Морра – итальянская игра, которая состоит в том, что её участники угадывают число поднятых пальцев; здесь сказано в шутку. (*итал.*)

⁷⁰ Госпожа Пиа – квартирная хозяйка художника Ганса.

⁷¹ Цехин – венецианская золотая монета.

⁷² Корсо – главная улица в Риме.

⁷³ улица Кондотти

⁷⁴ Голконда – город в штате Хайдарабад (Индия), состоит почти сплошь из руин, среди них много развалин старых замков и усыпальниц; в XVI-XVII веках здесь правила династия Кутбшахи.

⁷⁵ Зд.: гавань (*итал.*)

⁷⁶ Сорренто – небольшой город, расположенный на крутых скалах к юго-востоку от Неаполя.

⁷⁷ господин священник (*итал.*)

⁷⁸ Капри – живописный скалистый остров у входа в Неаполитанский залив.

⁷⁹ «Пресвятая Мария» (*лат., итал.*) – обращение к мадонне.

⁸⁰ исповедь и причастие перед смертью (церковный обряд)

⁸¹ упрямая, строптивая; *букв.*: яростная, взбешённая (*итал.*)

⁸² Карлин – мелкая монета.

⁸³ виноградник (*итал.*)

⁸⁴ *Здесь*: сорт вина, названный по острову.

⁸⁵ Бочча – итальянская игра в разноцветные шары.

⁸⁶ миля (*итал.*)

⁸⁷ Прочида – остров и город неподалёку от Неаполя.

⁸⁸ кума, крёстная (*итал.*)

INHALTSVERZEICHNIS – СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Am Tiberufer	7
Das Mädchen von Treppi	52
Annina	82
L'Arrabiata	110
Пояснения	127

Пауль Гейзе (1830-1914) – один из самых плодотворных новеллистов XIX века и крупнейший знаток и теоретик этого жанра в Германии. Его литературное наследие чрезвычайно велико. Он известен не только как прекрасный прозаик, автор психологических новелл, читаемых во всём мире, но и как поэт, как драматург.

О нём с большим уважением отзывались современники, его друзья и соратники по перу, Теодор Шторм, Готфрид Келлер, Теодор Фонтане и другие. Георг Брандес, известный датский литературовед и критик, сравнивал его с такими признанными мастерами, как Проспер Мериме и Э.Т.А.Гофман. В 1910 году писателю была присуждена Нобелевская премия.

Гейзе создал больше сотни новелл, девять романов, порядка пятидесяти драм, несколько сборников стихов. Большую известность получил он и как прекрасный переводчик итальянских поэтов XVIII-XIX веков, итальянских народных песен и нескольких драм Шекспира. Совместно с писателем Германом Курцем он перевёл и издал многотомное собрание «Сокровища зарубежной новеллы», а также дважды издал «Сокровищницу немецких новелл» в 24-х томах, сопроводив свои издания собственными теоретическими рассуждениями о жанре новеллы.

В 80-е годы XIX века, когда появились первые представители немецкого натурализма и зародилась декадентская литература, творчество Гейзе подверглось ожесточённым нападкам как «эпигонское», «устаревшее» и прочая, но у писателя, невзирая на это, достало таланта и умения, чтобы на многие годы сохранить симпатии читающей публики.

Павел Гелева